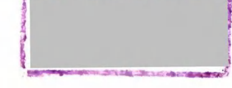

ВЛАДИМИР РАЗУМНЕВИЧ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕСНИ

ВЛАДИМИР РАЗУМНЕВИЧ

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕСНИ



МОСКВА
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР
1977



Разумневич В. Л.

Р 17 Человек из песни. Предисл. А. Алексина. М., ДОСААФ, 1977.

144 с. с ил.

Книга писателя В. Разумневича — сборник документальных рассказов и очерков о героических случаях из жизни людей разных поколений.

Писатель ярко и образно раскрывает богатый духовный мир своих героев, показывает благородство совершенных ими подвигов.

Книга рассчитана на массового читателя, в первую очередь на молодежь.

Р $\frac{70302-013}{072(02)-77}$ 50—77 9(С)27

ПЕСНИ, ОКРЫЛЕННЫЕ ПОДВИГОМ

Новая книга писателя Владимира Разумневича не случайно так названа —«Человек из песни». В ней собраны документальные рассказы о людях, жизнь которых «с хорошей песней схожа», о героях разных лет и разных профессий, подвиг которых вошел в песню и стих, стал ярким примером для молодежи. О бесстрашных защитниках Отчизны, о ратной и трудовой доблести народной, о героической перекличке разных поколений нашей страны, о современной юности, уверенно шагающей дорогой героев,— вот то главное, определяющее, о чем рассказывается в сборнике В. Разумневича, давно и беззаветно преданного военно-патриотической теме в нашей литературе.

Внук чапаевца и сын солдата, павшего смертью храбрых в сражении за Ржев, Владимир Лукьянович Разумневич провел свои школьные годы в саратовском селе Сулаке Чапаевского района. Во время войны, будучи пионером, публиковал в «Пионерской правде» сатирические миниатюры и карикатуры, гневно обличавшие врага. Окончив десятилетку, некоторое время работал ответственным секретарем районной газеты «Чапаевец». Затем окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, семь лет редактировал куйбышевскую газету «Волжский комсомолец», работал инструктором сектора печати ЦК ВЛКСМ, заместителем главного редактора журнала «Смена», членом редколлегии и редактором «Комсомольской правды» по отделу литературы и искусства.

Разумневич написал немало книг, воспевающих солдатскую и трудовую комсомольскую романтику,

правдиво и увлекательно раскрывающих богатство духовного мира молодых героев нашего времени. Две из них — сборник рассказов о Чапаеве и чапаевцах «И каждый ему земляк» и повесть «Кострам гореть до рассвета», посвященная дружбе воинов с пионерами,— были выпущены издательством ДОСААФ, тепло приняты читателями и критикой. Военно-патриотические произведения Владимира Разумневича окрылены мыслью о нескончаемости подвига советского народа, об идейно-нравственном единстве разных поколений строителей коммунизма.

И в новом своем сборнике —«Человек из песни» автор, как мне думается, успешно продолжает разрабатывать героическую тему. Он пишет о реальных исторических личностях дней минувших и дней сегодняшних, рисует выразительные портреты людей смелых и убежденных, пламенных патриотов, умеющих одерживать победы не только на поле ратных сражений, но и на трудовом фронте, на всех участках коммунистического созидания. Эта книга может стать добрым спутником советского юношества, которое готовит себя к труду и обороне во славу нашей Родины.

Анатолий АЛЕКСИН,
лауреат Государственной премии РСФСР
и премии Ленинского комсомола

«Я ВАМ ЖИТЬ ЗАВЕЩАЮ...»



Я убит подо Ржевом,
Тот — еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
Не на нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жить завещаю,—
Что я больше могу!
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой Отчизне
С честью дальше служить.

Александр Твардовский.
«Я убит подо Ржевом»

ПИСАЛ ОТЕЦ С ВОЙНЫ

Давно хранятся у меня в красной папке фронтовые письма. Нет у этих писем ни конвертов, ни марок. Сложены они в виде треугольников. На одной стороне бумажного треугольника — адрес нашего дома, на другой — печать солдатской почты.

Если развернуть треугольник, то получится тетрадный лист в клетку, исписанный химическим карандашом. Письма пожелтели от времени, фиолетовые строчки расползлись по листу. Не сразу прочтешь, что написано. Второпях писал солдат, в перерывах между боями, при мигающем свете блиндажной коптилки. В любую минуту фашисты могли пойти в атаку. Спешил солдат закончить письмо, отправить его семье, где фронтовую весточку ждали как самую великую радость. Когда же письма долго не было, семья тревожилась: «Уж не погиб ли солдат?..».

Раскладываю письма по порядку. Вот это — из подмосковного Бородина, а эти — из Калинина и Старицы; наконец, одно из неведомой деревеньки Старшевицы...

Оттуда, из далекой приволжской деревушки, прислал солдат свое последнее письмо.

Оттуда же пришло и извещение о его гибели...

Снова и снова перечитываю я старые письма. И всякий раз будто слышу родной, незабываемый голос. Голос этот рассказывает мне о войне, о солдатском подвиге, учит, как надо жить.

— Откуда эти письма, папа? — спрашивает Наташа, заглядывая в красную папку.

— С войны,— отвечаю я дочери.

— Войны давно нет...

— Есть память, Наташа. Светлая память. Эти письма написал мой отец, твой дедушка. Он был солдатом Великой войны. Фашисты тогда к Москве рвались. А дедушка вместе с другими советскими воинами не пускал их. Под городом Ржевом, в деревне Старшевицы, убили его фашисты.

— Теперь там дедушкина могилка?

— Писал я в Старшевицы. Справлялся об отце. Мне ответили: нет его могилки в деревне. А я-то хотел побывать там, поклониться отцу.

— Может быть, где-нибудь в лесу,— предполагает Наташа.— Поедем туда, поищем.

— Я и сам, Наташа, об этом думаю. Да вот все ждал, когда ты подрастешь, чтобы вместе в поиск отправиться.

— Я уже подросла,— обиделась Наташа.

— Раз такое дело, нынешним летом, как только у тебя начнутся каникулы, а у меня отпуск, двинемся в путь. Пройдем по тем дорогам, по которым дедушка ходил...

— Обязательно пойдем! Только вот дороги... Узнаешь разве, где он ходил...

— А фронтовые письма? Они укажут, куда нам идти. Будем останавливаться в тех местах, откуда дедушка посылал эти письма.

— Мы их в портфель положим. Потом, когда по дедушкиной дороге пойдем, будем доставать и читать вслух.

— Согласен. А еще возьмем вот эту старенькую тетрадь с моими детскими каракулями — я показываю дочери свой школьный дневник.

Первая запись в дневнике сделана в тот самый день, когда мы с мамой получили эти два горестных письма с фронта:

«Как ни тягостно будет для Вас мое сообщение, но я Вам должен написать, что Ваш муж погиб смертью храбрых 6 мая 1942 года.

Мы, товарищи по оружию, похоронили его на советской земле с воинскими почестями и поклялись отомстить за его смерть проклятым фашистам!

Политрук роты связи 227-го стрелкового полка
Н. Я. Буденный».

«Привет с фронта!

Получив Ваше письмо, товарищ Вова, где Вы желаете своему папе много боевых успехов и просите его, чтобы он чаще писал письма, мы сообщаем Вам, уважаемый Вова, что Ваш папа геройски погиб при исполнении служебных обязанностей под городом Ржевом, в деревне Старшевицы, где и похоронен.

С приветом к Вам —
лейтенант Короушкин».

ЗАПИСИ В СТАРОЙ ТЕТРАДИ

«...От папы нет писем. Почему он не пишет? На душе тревожно.

Я сижу у окна. Отложил учебники. До уроков ли тут! Эх, папа! Наказывал ведь хорошо учиться. А какая учеба, когда от тебя ни строчки. Не лезут в голову ни задачки по арифметике, ни падежи имен существительных.

Весна. Солнышко.

На молодую травку, что протянулась вдоль тропинки, пересекающей двор, ложится тень облака.

Я смотрю, как медленно движется мрачная тень по земле, подбираясь все ближе к нашему дому, тянется к распахнутому окну. Я невольно отодвигаюсь в сторону.

Сердце колотится все беспокойнее, и страшные мысли лезут в голову.

Успокаиваю сам себя — зачем понапрасну расстраиваться, когда ничего еще неизвестно?

Может, папе, просто некогда писать?

На Калининском фронте, как пишут в газетах, тяжелые бои идут. Когда же бойцам письма писать...

Хлопнула калитка. Послышались шаги на крыльце, потом встревоженный мамин голос:

— Вова, где ты там? Скорее сюда...

Я отскакиваю от окна. Выбегаю на крыльцо. Рядом с мамой стоит бабушка Катя. Она смотрит испуганно, берет меня за руку и загораживает плечом, словно хочет заступиться за меня перед мамой. А мама протягивает мне письмо:

— Только что почтальон принес. Читай скорее. Я не могу. Видишь, не отцовской рукой написано...

Беру из дрожащих маминых рук письмо. Осторожно надрываю конверт. Начинаю читать:

«Как ни тягостно будет для Вас...».

Строки письма сливаются перед глазами в одну черную линию. Ничего не могу разобрать.

А мама с бабушкой ждут. У них слезы на глазах. И я с трудом пересиливаю себя, дочитываю до конца...

Мне сразу становится не по себе.

Хочется крикнуть: «Папа! Папочка! Неужели тебя больше нет? Не верю! Не верю! Ты жив, жив, жив!».

Но в руках у меня письмо со страшным словом: «погиб».

Так вот почему ты так долго молчал, не писал нам.

И никогда больше не придут от тебя письма.

Солнце припекает. А я дрожу, как на лютом морозе. И боюсь, что с мамой или бабушкой тоже что-то случится.

Мы с мамой сообщили родственникам и друзьям о гибели отца.

И сегодня почтальон принес нам сразу три письма.

Одно от моей бывшей учительницы — военной медсестры Анастасии Ивановны Нестеренко, другое — от дяди Миши, который теперь воюет танкистом на фронте, и третье — от папиного родственника Тимофея Егоровича из города Кинешмы, где мы жили прежде, до переезда в село.

Тимофей Егорович пишет, что папин брат Василий пропал без вести и сейчас у них нет никого родных, кроме нас.

Самое большое письмо — от Анастасии Ивановны. Его мы читали три раза, и мама каждый раз плакала.

Вот оно, это письмо:

«...Не плачьте, дорогие, не плачьте! Не надо!

Знайте только одно, что ваш отец погиб как герой — за жизнь сына, за его цветущее будущее.

Память о нем пусть хранится в ваших сердцах вечно. Жаль только, что могилки его сейчас не найти...

Я знаю, нелегко забыть человека, с которым ты, Вова, жил бок о бок под одной крышей, с которым встречался изо дня в день, разговаривал, дружил. И вдруг — его нет...

Трудно перенести это горе! Мне кажется, что вот-вот вы пришлете мне письмо, и там я увижу, как прежде, привет от твоего папы...

Ты должен понять и запомнить, Вова, навсегда одно: твой папа пал смертью храбрых, он до последнего своего дыхания был в рядах первых, он у тебя — герой.

Когда будешь изучать историю нашей партии, в которой состоял твой отец, ты откроешь для себя много славных имен героев нашего Отечества, узнаешь о стойких борцах за народное счастье. И тогда поймешь, мальчик, почему твой отец так жил и так погиб.

По-иному он не мог. Ведь он у тебя жил, работал и воевал, как коммунист.

И погиб коммунистом».

Я согласен с Анастасией Ивановной — лучше погибнуть в бою, чем жить трусом, прятаться от опасности.

Вспоминаю, как зимой мы ловили в лесу человека, который убежал с фронта, спрятался в лесу, на другом берегу Иргиза.

Дезертир построил там, в непролазной чаще, шалаш из веток. По ночам он, как голодный волк, пробирался в село, воровал кур, лазил по чужим погребам.

Колхозники решили поймать его — оцепили лес со всех сторон, двинулись в самую чащу. И мы, школьники, шли рядом с ними.

Целую неделю выслеживали дезертира, пока не набрели на его шалаш.

Он вышел к нам злой, бородатый и весь оборванный, со впалыми обмороженными щеками.

Вели его по сельской улице, и женщины плевали ему в лицо, ругали самыми страшными словами. А он шагал с опущенной головой, боялся взглянуть людям в глаза.

Противно было смотреть на этого жалкого труса. Не спас он свою продажную шкуру, получил по заслугам! Так ему и надо!

Ни к кому в жизни я не питал такой лютой ненависти, как к этому изменнику. Он не достоин даже малейшей жалости. О нем и вспоминать-то противно...

А о моем отце все говорят с гордостью и любовью.

Каждый вечер приходят к нам в избу разные люди, которые знали отца, работали с ним. И все они вспоминают что-то хорошее, доброе.

Приходили работницы из пекарни, где отец прежде работал. Приходили плотники, вместе с которыми он когда-то строил дом на улице Советской. И все называли отца настоящим коммунистом, честным и справедливым, мастером на все руки.

Сегодня вот раскопал в мамином комоде старую красную папку. В ней — справки всякие, трудовая книжка, профсоюзный билет и вырезка из кинешемской газеты «Приволжская правда», где помещена заметка о том, как моего отца — лучшего плотника фабрики — рабочие принимали в партию. Было это в год смерти Ленина. Тогда отец стал коммунистом.

Он не рассказывал мне об этом времени и вообще редко говорил о себе, о своих заслугах. Не любил хвастаться. Но сохранилось несколько фотокарточек. Среди них — групповой снимок военно-дорожного отряда, в котором служил отец. Он сидит в ряду красноармейцев с

шашкой в руке, строгий и худющий — ворот шинели почти вдвое шире, чем шея. Через плечо — ремень, на голове папаха со звездочкой.

Таким он был в гражданскую войну, когда командир наградил его за храбрость в бою именной шашкой.

Разглядываю другой снимок. И здесь папа такой же молодой, но уже в пиджаке, при галстуке, с густым чубом из-под козырька рабочего картуза. Комсомолец, плотник ткацкой фабрики.

А вот снимок, где он сфотографировался вместе с мамой, ткачихой с той же фабрики. Тогда они только-только поженились. А через год родился я. И меня тоже сфотографировали — я сижу на кушетке и смотрю вперед, на фотоаппарат, откуда, как пообещал фотограф, вот-вот должна вылететь птичка...

Пацаном я бегал тогда в столярную мастерскую к отцу, и он учил меня обстругивать доску маленьким рубанком, а сам мастерил мне деревянную шашку — точно такую, какая была у него.

Потом из столярки папа перешел работать на фабричный конный двор, и мы вместе с ним водили Саврасого на водопой.

Когда папа выезжал куда-нибудь, то брал с собой и меня. Зимой я забирался под войлочную теплую накидку, которой обычно укрывали ноги седоки, и, высунув нос, разглядывал окружающий мир, шумный красивый город, людей.

В тот год снимали в Кинешме фильм «Бесприданница». Отца, как опытного кучера, попросили проехаться на пролетке возле артистов.

Говорят, что все это заснято в фильме. Но я так и не смог посмотреть «Бесприданницу» — не пустили в кинозал, потому что на двери висело объявление: «Дети до 16 лет не допускаются».

Досадно, что мало осталось папиных снимков. В последние годы он почему-то совсем не фотографировался. Лишь однажды, перед самой войной, когда меня принимали в пионеры, сказал, что «надо увековечить это событие», и захотел сняться рядом со мной. Но у фотографа в тот день болели зубы. Он вышел к нам с перевязанной щекой и сказал, что у него бюллетень.

Мы так и не сфотографировались.

— Не переживай,— сказал папа,— снимемся в другой раз, когда ты станешь комсомольцем...

Но «другого раза» уже никогда больше не будет.

Верчусь как белка в колесе. Допоздна бегаю с друзьями по дворам — собираем посылки для фронта. Чуть свет отправляюсь на колхозное поле — нашему классу поручили пропалывать картошку и возить сено на ферму. Вместе с мамой ходим искать на пустыре около села прошлогодние ржаные колоски — в доме мука кончилась, и нам есть нечего.

Нелегко приходится. Но ведь красноармейцам на фронте еще труднее, а они не жалуются, не унывают. Отец в каждом письме писал: «Жив буду — не помру!». Это его любимая поговорка. Вокруг, наверное, бомбы рвались, снаряды свистели, а он шутил в письмах. «Выше нос держи, Вовка! — писал он мне.— Фашисты пуще огня боятся нас, курносых...»

Когда мне трудно, я вспоминаю его слова и пытаюсь шутить, как отец. Но у меня не всегда получается.

Отец был храбрым человеком.

Другие бойцы на фронте тоже храбрые люди.

Гитлер потому и попятился от Москвы, что весь народ поднялся против него и никто не струсил.

Я знаю: таких, как мой отец, у нас в стране очень много, миллионы таких. Но он мне всех дороже, всех ближе, всех роднее.

Ведь он мой отец!

Он был, есть и будет всегда моим отцом, хотя его и нет с нами...

Не только в нашей семье такое горе. У четверых моих школьных товарищей погибли отцы на фронте. В похоронках, которые они получили, тоже написано: «Погиб смертью храбрых».

По радио передали, что под Ржевом с новой силой разгорелись упорные бои. Фашисты атакуют и атакуют нас, не хотят уходить с Верхней Волги.

Под Сталинградом и на Северном Кавказе тоже вовсю сражения идут. Нашим приходится очень туго.

Про деревню Старшевицы по радио — ни слова. Занял ее враг или же там по-прежнему обороняются наши красноармейцы, папины товарищи?

Представляю, как им тяжко сейчас.

Вот бы оказаться рядом с ними! Не прогонят, когда узнают, чей я сын, пустят на передовую.

В школе только и разговоров, что о юных разведчиках и партизанах. Деревенские старожилы рассказывают, как в гражданскую войну мальчишки помогали чапаевцам, занимали в строю место старших. А юный барабанщик, о котором поется в нашей отрядной песне...

Твердо решил — еду на фронт! Буду мстить фашистам за смерть отца, помогать его товарищам биться за Родину.

Как только мама ушла на работу, я быстро оделся, собрал в узелок несколько картошек, корку хлеба, горсть тыквенных семечек — это все, что я нашел в доме,— и отправился пешком на станцию Рукополь. Оттуда, как я слышал, постоянно идут поезда с красноармейцами прямо на фронт.

На полдороге меня нагнала телега. А в ней мама и милиционер с наганом. Милиционер меня ругал, а мама молча утирала глаза краем платка. Они посадили меня в телегу и повезли обратно в село.

Вечером в избе собралась вся наша родня. Тетки бранили меня. А дядя Паня, комбайнер, которого из-за плохого зрения не взяли на войну, говорил, что фашистов можно бить не только на фронте, но и в тылу, что мне надо пойти работать к нему на комбайн помощником штурвального, что это будет самая верная помощь Красной Армии.

Потом мама достала из красной папки последнее письмо отца и прочитала слова, которые я без того знал наизусть: «Жена, учи сына, чтобы он окончил десятилетку; и тебе, Вова, советую учиться, пока будет возможность».

«Что ж, буду учиться, а летом работать на комбайне. А потом, когда стану взрослым, смогу поехать в Ржев,

в деревню Старшевицы. Ее, правда, нет ни на одной карте, но она где-то возле города. Отыщу! И хотя Анастасия Ивановна написала, что могилку отца уже не найти (после этих слов в письме мама всегда плачет), но я обязательно найду! Люди, которые живут в деревне, наверное, знают, где могилы красноармейцев, и покажут мне».

НАТАША ПИШЕТ БАБУШКЕ

«Дорогая бабушка!

Сегодня читали мы с папой дедушкины письма. Они старенькие-престаренькие, без конвертов и марок — сложены треугольничком.

Дедушка в письмах называет папу Вовой. Это потому, что папа тогда был маленьким, его даже на войну не пустили.

Летом мы с папой поедем туда, где воевал дедушка, откуда он присылал свои письма.

Мы найдем дедушкину могилку и положим на нее цветы.

Я теперь всю зиму буду ждать лета.

Очень хочу туда, где был дедушка.

Целую тебя сто раз.

Твоя Наташа».

ИДУ К ТЕБЕ, ОТЕЦ!

Я получил отпуск, и мы с Наташей собрались в путь.

Это хорошо, что дочь идет со мной. Она ведь никогда не видела родного дедушку, и ей непременно надо знать, каким он был, как воевал, как отдал жизнь за Родину. Мы будем шагать по его фронтовым дорогам и узнавать обо всем этом.

И вот мы в Подмосковье.

На подступах к столице начиналась для отца война.

Мы с Наташей подходим к памятнику возле шоссе, читаем надпись на граните. Памятник установлен в честь бессмертных геров-солдат, не пропустивших врага в Москву.

Перед нами — огромные, положенные крест-накрест стальные брусья. В войну такие сооружения назывались

«противотанковыми ежами». Они преграждали путь фашистским танкам. Концы брусьев устремлены высоко-высоко в безоблачное небо. Наташа поднимает голову, подносит ладонь к глазам, чтобы получше разглядеть памятник.

— Я в кино видела,— говорит она.— Танки гусеницами вот такие же кресты давили...

— Конечно, Наташа, одними «ежами» стальной танк не остановить. Дорогу фашистским танкам преградили советские солдаты. Вот послушай, что написал зимой тысяча девятьсот сорок первого года твой дедушка...

Я достаю из портфеля пожелтевший треугольничек фронтового письма и читаю дочери:

«Нахожусь в настоящее время недалеко от Москвы, там, где наши предки громили Наполеона, а теперь мы бьем Гитлера. Наши бойцы своей грудью прикрывают любимую столицу, стоят твердо и неприступно, надежнее любой крепости. Гитлеровцам здесь не пройти. Мы разобьем озверелого врага — жить вам весело и счастливо!».

— Отсюда, из Подмосковья, прислал он нам это первое свое фронтовое письмо,— говорю я дочери.— Здесь, Наташа, жаркие бои тогда шли.

На шоссе, неподалеку от нас, остановился автобус. Из него галдя выпрыгнули пионеры и гурьбой направились к памятнику. Впереди шагала вожатая — кудрявая девушка с алым галстуком на груди.

Наташа встала рядом с пионерами и слушала, о чем рассказывала им вожатая. Говорила вожатая негромко, но я заметил — не только Наташа, а и все остальные мальчишки и девчонки жадно, боясь шелохнуться, с напряженным вниманием ловили каждое ее слово:

— Поднялся политрук роты Клочков, кивнул своим товарищам на танки с черными крестами на борту, что ползли им навстречу, и сказал: «Ну, что ж, друзья, двадцать танков. Меньше чем по одному на брата. Это не так много!». И стали они, двадцать восемь героев-панфиловцев, бить по фашистским танкам. В упор стреляли из противотанковых ружей, зажигали броню бутылками с горючей смесью, бросали под гусеницы гранаты, стреляли из автоматов и пулеметов. Четыре часа длилась жаркая схватка. Неравным был бой, но наши воины остановили танки. И тогда фашисты бросили на смельчаков новый танковый эшелон. Снова собрал политрук Клочков своих товарищей и сказал такие слова: «Тридцать танков,

друзья. Придется всем нам умереть, наверно. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва». И насмерть стояли герои вон там, у разъезда Дубосеково. Гитлеровским танкам так и не удалось пробиться к столице нашей Родины.

Наташа тихо спросила меня:

— Дедушка тоже с ними был?

— Нет, Наташа. Он вступил в бой, когда фашистов уже погнали дальше от Москвы. Но если бы он был вместе с панфиловцами, то тоже дрался бы до последнего. Ведь он, как и политрук Клочков, был коммунистом.

Долгой оказалась для нас дорога из Москвы до города Калинина. Мы останавливались в селах, которые упоминались в отцовских письмах, искали окопы давних боев, сидели на заросших склонах, где когда-то, возможно, лежал с автоматом и мой отец. Наташа сдувала мохнатые шапки одуванчиков, подставляла ладошки пятнистым божьим коровкам, пыталась сплести венок из полевых цветов и, кажется, меньше всего обращала внимание на старые бумажные треугольники, которые я то и дело доставал из красной папки и читал вслух.

Она видела, конечно, войну в кино. Там чаще всего солдаты бегут вперед, бросают гранаты. А чтобы вот здесь, в небольшом окопчике, часто мусоля карандаш, писал солдат письмо домой — это не только Наташе, но и мне самому было представить трудно.

— Ты же всегда отбираешь у меня химические карандаши,— смеется Наташа.— Видишь, как несправедливо ты поступаешь...

В школе, бывало, мы рисовали химическими карандашами. Не было других. О роскошных наборах в восемь цветов мы только краем уха слышали. И берегли свои измусоленные фиолетовые огрызки, как драгоценности.

В пути нам встретился старый солдат, воевавший в этих местах. Он рассказал, как жестоко издевались фашисты над мирными жителями, поджигали крестьянские избы и угоняли людей в Германию, чтобы они работали на немцев.

Когда наши освободили одну из таких деревень, то вместо домов увидели кирпичные трубы и развалины.

Возле обгоревшей стены здания, где находился фашистский штаб, торчали маленькие виселицы: на них гитле-

ровцы, развлекаясь, вешали кошек — людей в то время в деревне уже не было.

Бывший фронтовик многое рассказал нам о войне.

Благодаря ему Наташа могла сказать, где проходило то или иное сражение.

Наташа водила веснушчатого паренька в голубой пилотке, с которым познакомилась в маленьком городке Старицы, по «дедушкиным местам» и без запинки объясняла ему, как фашисты, наступая на Москву, задумали обойти ее сразу с двух сторон: с севера — через Ржев—Калинин и с юга — через Орел—Тулу, как, захватив много наших городов, они надеялись окружить столицу и провести затем на Красной площади парад своих войск.

— А у них ничего не вышло! — с победным видом закончила она свой рассказ.— Парад на Красной площади и вправду был. Но не фашистский, а наш, советский! Красная Армия так стукнула Гитлера, что он побежал без оглядки. Мой дедушка вместе с другими солдатами прогнал Гитлера далеко-далеко. Мы отобрали у фашистов город Калинин. Надо было освободить еще и город Ржев. А Гитлер строго приказал своим солдатам: «Умрите, но не отдавайте! Если Ржев отдадите, то считайте, и Берлину конец, и Москвы нам тогда не видать!».

Наташа, говоря это, напускала на лоб челку, кривила губы и надменно тыкала в небо пальцем.

Мальчишка смеялся, а я, желая доказать ему, что все это так и было, показывал военную книжку, где приводились слова Гитлера: «Отдать Ржев — это значит открыть дорогу на Берлин, это значит — сдать половину Берлина».

Еще там были строки, написанные гитлеровским генералом в январе 1942 года:

«Мы должны удержать Ржев любой ценой. Какие бы мы потери не понесли, Ржев должен быть нашим. Ржев — это трамплин. Пройдет время, и мы совершим отсюда прыжок на Москву».

— Мастера были хвастаться, эти гады-фашисты! — сказал, шмыгнув носом, парнишка.— «Прыжок на Москву!» А у самих душа в пятки.

— Не скажи,— ответил я ему.— Немцы держались за Ржев всеми силами. И много пришлось нашим воинам пролить крови, чтобы вышвырнуть их. Каждую пядь земли брали здесь в тяжелом бою.



— Покажи, папа, мальчику письма, которые дедушка с войны прислал. Там обо всем написано,— сказала Наташа.

Я разложил перед пареньком фронтовые треугольники отца. Читая их, он с каждой минутой становился серьезнее и строже. Потом сказал мне:

— Ценные письма. Из наших мест посланы. Их бы в школьный музей, под стекло... Отдайте мне, а?

— Нам они самим нужны,— Наташа отобрала у него письма.— Мы по ним дорогу ищем — туда, где дедушка воевал. Возле Москвы были, а теперь дальше идем, к Волге, там вот этот треугольник написан...

Наташа говорила про письмо, которое отец послал из-под города Калинина.

В письме было всего несколько строчек, торопливо написанных карандашом.

«Пишу в блиндаже при тусклом свете коптилки. Фашисты засели на другом берегу, обстреливают нас из пушек. Земля дрожит от взрывов. Только зря враг старается — Волга была и будет советской! Извините за короткое письмо. Некогда. Сейчас пойдем в атаку...»

Мы с Наташей подходим к волжскому откосу, путь к которому указало нам отцовское письмо.

Полуденное солнце слепит глаза. Белопенные груды облаков застыли над горизонтом. Кричат чайки, выхватывают что-то из волновой глади и стремительно уносятся за теплоходом.

За спиной, в сосновом бору, одиноко кукует кукушка...

— Раз... два... три...— считает Наташа.

Кукушка долго не смолкает, и дочь, сбившись со счета, начинает снова:

— Раз... два... три... Что ж это получается, папа, я два раза буду жить? Умру, а потом снова — вот я! Что это такое?

У нее под ногами, в сухой траве, проржавевшая насквозь красноармейская каска.

Наташа берет ее в руки и внимательно рассматривает:

— Смотри, тут дырочка. Может, пуля пробила?

Еще минуту назад большие глаза ее были полны радости, а теперь в них — серьезность.

Мы шагаем вдоль берега. Шелестит трава под ногами.

Молча оглядываемся по сторонам. Все вокруг: и длинная ложбинка, поросшая бурьяном, и колючая проволока

в кустах, и холмик под березой, и огромная яма, и пушка над бетонной глыбой — все это следы войны... Все это незажившие раны. А вот и полуобвалившийся, глубоко ушедший в землю блиндаж. В нем темно и сыро. Пахнет плесенью. Гнилые, черные бревна выпирают с боков. Мрачный потолок тяжело нависает над нами. К сырой, облезлой стене неуклюже прижался дощатый стол, у которого уцелела лишь одна ножка.

— Здесь, наверное, дедушка писал свои письма,— предполагает Наташа и осторожно проводит рукой по доске. На ладони остается чернота.

Сквозь узкую расщелину между бревнами пробивается дневной свет. В лучах солнца играют, мельтеша и кружась, бесчисленные пылинки.

Наташа привстает на цыпочки. Тычется носом в щель и долго разглядывает песчаный откос, окопные углубления на полянке, бугорок под сиротливой березкой.

Я стою рядом с Наташей и тоже вижу все это. На какой-то миг почудилось, что и отец здесь, вместе с нами, плечом к плечу. Он в солдатской гимнастерке, каска на голове, насупленный и настороженный — таким никогда я не видел его. Окинув взглядом берег, он вскидывает автомат к амбразуре и тут замечает Наташу. Спрашивает: «А это что за малышка здесь? Обличьем вроде бы на меня смахивает. Но не припомню, чтобы в нашем семействе водились такие. Смотри, Владимир, кабы враг опять не нагрянул вон с того берега. Вместе будем отбиваться».

Сердце в груди у меня замирает, холодеет, как в тот день, когда в наш дом пришла «похоронка»...

Наташа, вижу, тоже волнуется. Смотрит в щель и спрашивает меня возбужденно:

— Фашисты вон оттуда шли, да?.. А дедушка их не пускал. Он вот отсюда из автомата их: «тра-та-та, тра-та-та!». Так им и надо, захватчикам!.. Видишь, холмик у самой березки... Это могилка, да?

— Да.

— А кого там похоронили, ты знаешь?

— Не знаю, Наташа. И никто теперь не знает...

— А вот дедушка, наверное, знал...

Она отходит от щели, роется в углу блиндажа. Ей очень хочется найти что-нибудь из солдатских вещей или, по крайней мере, откопать стреляную гильзу.

Молча мы выходим из тревожного мрака блиндажа на свежий воздух. Направляемся к лесу.

— А я, папа, теперь знаю, как воевал дедушка,— говорит Наташа.— Я только что его видела — когда мы в блиндаже были. Как в кино. Но только еще ближе.

— И я тоже видел,— отвечаю я дочери.— Если бы в том бою мы оказались рядом с ним, то, наверное, были бы ему верными помощниками. Как ты думаешь, Наташа?

— Конечно! — соглашается она.— Мы бы все делали, как мой дедушка.

В просвете между вековыми соснами, что в грустной задумчивости застыли вокруг неширокой лужайки, мы заметили гранитный памятник.

На постаменте — раненый воин...

Его поддерживает молоденькая санитарка. Глаза ее, полные отчаяния и гнева, смотрят куда-то в сторону, зовут к мести.

— Это мой дедушка? — спрашивает Наташа и кладет букетик цветов на гранит, к подножию памятника.

— Нет,— отвечаю я ей.— Это неизвестный солдат. И тот, который похоронен вон там, под березкой, и другие, которые пролили кровь на этом берегу. Здесь много наших бойцов погибло...

— А дедушка?

— Дедушку фашисты убили в другом месте.

— Я хочу туда. Там мы тоже положим цветы — дедушке и другим солдатам, которые погибли.

Наташа долго разглядывает гранитное лицо молоденькой санитарки, которая изо всех сил старается удержать на руках раненого.

— Я бы, папа, пошла на фронт медсестрой,— говорит мне Наташа.— Без санитарок на войне нельзя. Некому было бы раны перевязывать и бойцов лечить. Я бы обязательно спасла раненого дедушку.

РЖЕВСКИЕ СЛЕДОПЫТЫ

Красавица река полукольцом охватила старинный волжский город Ржев. Мы с Наташей поднялись на высокий крутояр к стоящей на постаменте пушке. Длинный ее ствол нацелен на другой берег. Там, за рекой, улицы уто-

пают в зелени. Река здесь неширокая, тихая. Мир и покой вокруг.

Возле пушки сновали любопытные мальчишки. Один из них — вихрастый, с облупленным носом — важно сообщил Наташе:

— Это пушка настоящая. Она по фашистам стреляла. Без промаха!

А его долговязый приятель, поправляя галстук на груди, не без хвастовства добавил:

— Я бы тоже не промахнулся! Отсюда весь берег как на ладони. Фашисты вон там укрывались, за церковью, где сейчас музей. Там, во дворе, пушки стоят помощнее этой. Есть и немецкие. Я бы по ним отсюда так дал!

Наташа припадает к продолговатой прорези в левой стороне пушечного щитка и глядит туда, куда он указал. Там действительно у самой церквушки-музея видно черное орудие. А дальше, вдоль улиц, тянутся дома, деревянные и кирпичные, с кудрявой раскидистой зеленью под окнами.

— А нам говорили,— вспомнила Наташа,— после фашистов здесь одни камни остались...

— Факт! — подтвердил вихрастый.— Весь город заново отстроили. Тут за каждый дом бои шли — только держись! Семнадцать месяцев фашисты были в городе. А в марте сорок третьего наши пробились. Вон там,— показал мальчишка в сторону высокого холма, на вершине которого величаво застыл гранитный обелиск,— могила генерала Куприянова. Он командовал Уральской дивизией. Эта дивизия первой прорвалась на Советскую площадь. Там и других похоронили, кто за Ржев дрался. Все они были героями.

— Ты про капитана Николая Гастелло слышала? — обратился к Наташе приятель вихрастого.

— Нам учительница рассказывала,— ответила Наташа.— Его самолет загорелся, и он прямо с неба на фашистские танки, чтобы и они все сгорели... Но это не здесь было, а в Белоруссии.

— Без тебя знаю, что не здесь. А у нас его родной брат сражался. Виктором зовут. Командир батальона. Так вот он в первых рядах шел, когда город освобождали. И погиб здесь. Мы его сестру разыскали. Нину Францевну. Она нам письма пишет... А про сержанта Головню слышала?.. Эх, про такого человека не знаешь! Когда наши

Ржев освобождали, Головня своею грудью заслонил командира от пули и спас ему жизнь, а потом, раненый, бросился вперед, на вражескую амбразуру, телом закрыл ее. Как Александр Матросов.

— Мой дедушка тоже вперед побежал,— сказала Наташа,— чтобы Ржев поскорее освободить. Его здесь убили. Мы дедушкину могилку ищем...

— Что же ты мне сразу не сказала? — обиженно взглянул на нее мальчишка.— Раз твой дедушка за Ржев воевал, мы должны про всю его жизнь разузнать. Такое у нас, следопытов, правило. Мы про все разузнаем и в тетрадки записываем. Родные погибших к нам приезжают, письма шлют. А мы находим, где кто похоронен. У нас в школе музей боевой славы получше, чем вон тот, краеведческий. Я туда пять боевых патронов принес — на берегу нашел. А вот он,— мальчик кивнул на своего приятеля,— немецкую каску в кустах подобрал, когда по грибы ходили. А Юрка Чукиани разыскал значки в честь освободителей Ржева... Чего только у нас в музее нет! Но главное — альбом! Там про защитников Ржева, о которых мы узнали, про боевой путь семнадцати дивизий, которые здесь сражались, подробно написано... Твой дедушка из какой дивизии?.. Из сто восемьдесят третьей, говоришь?.. Это наша любимая дивизия. Шестому «Б», нам то есть, поручено про нее записывать. Тебе повезло, что с нами встретилась. А где он погиб? Под Старшевицами? Знакомое место! Это возле Полунина. Мы всем отрядом туда ходили... Знаешь что, пойдем-ка к нашей учительнице! Маргарита Павловна уже двадцать пять лет в школе историю преподает и про все на свете знает, во всех наших походах участвовала. А память у нее — ух, получше моей! Изложит все, как есть: и про дедушкину дивизию, и про наши экскурсии, и про многое другое. Уж она-то наверняка поможет вам дедушкину могилку отыскать... Пошли! Не пожалеешь!

Маргарита Павловна, необычайно подвижная и приветливая, сразу же понравилась и мне, и Наташе.

Мы рассказали ей и о дедушкиных письмах, и о нашем путешествии...

— Да-а, сколько лет прошло,— вздохнула учительница,— а люди до сих пор разыскивают своих родных и близких, пропавших без вести. Приезжают в Ржев издалека, ищут места, где сражались солдаты, хотят повидать

кого-нибудь из фронтовых друзей своих отцов и дедов. И наши юные следопыты помогают им в этом. Вот посмотрите...

Она открыла дверь в классную комнату, и мы остановились, пораженные.

Настоящий музей! На стенах — потреты героев войны, фронтовые снимки, а на столах солдатские каски, планшеты, карты, бинокли, патроны...

Наташа дотянулась рукой до боевой сабли, повешенной на самом видном месте, между окнами. Маргарита Павловна сказала, что клинок принадлежал когда-то командиру кавалерийского полка, отважному красному коннику, который в гражданскую войну разил этой саблей бандитов-басмачей, а в Отечественную — фашистов под Ржевом.

— У моего дедушки была точно такая же сабля! — похвасталась Наташа.— Я на фотокарточке видела.

— Посмотри-ка сюда, Наташа,— Маргарита Павловна достала с полки толстую папку и развязала тесемки на ней.— Здесь собраны материалы о той самой дивизии, в которой служил твой дедушка.

Мы с Наташей внимательно разглядывали содержимое папки — альбомы с рисунками и фотоснимками, воспоминания и письма фронтовиков, путевые тетради ржевских следопытов.

В одной из тетрадей был записан рассказ пионеров о том, как они летом ходили в деревню Старшевицы и познакомились со старой колхозницей Еленой Федоровной Волковой. Она была свидетельницей страшного преступления гитлеровцев. Разрушив деревню, немцы пытались поджечь единственное уцелевшее за околицей здание — большой сарай, где прятались от пуль и снарядов местные жители: старики и старухи, дети, их матери. Фашисты подошли к сараю, накрепко заперли его и не выпускали людей. Потом начали бросать горящие факелы на соломенную крышу. Начался пожар. Все, кто был заперт в сарае, сгорели бы заживо, задохнулись бы в дыму, если бы им на выручку не подоспели солдаты в белых халатах. Это были наши лыжники-разведчики. Они оттеснили фашистов от деревни, спасли жителей.

— И мой дедушка был там, да? Это он спас их, да? — допытывалась Наташа.

— Не знаю,— ответила Маргарита Павловна.— Надо бы вам в Старшевицах с Еленой Федоровной повидаться. Она точно знает и все расскажет.

Учительница достала из папки письмо и показала Наташе:

— Оно пришло в школу от однополчанина твоего дедушки — фронтового фельдшера Владимира Павловича Нажимова. Теперь он известный ученый, доктор наук. А тогда, в войну, он написал вот такие стихи:

Боец упал на поле боя,
И заалела кровь под ним.
Снаряды, мины, грозно воя,
Рвались вокруг него. И дым
По склону поля расстилался.
Он, раны край зажав рукой,
Глядел вокруг себя, прощался
С землей и жизнью молодой...

В атаку снова мы ходили,
И побежал коварный враг.
Мы над деревней водрузили
Победы нашей красный флаг.
Он улыбнулся этой вести.
Победе нашей был он рад.
Он не боялся больше смерти,
Он верил — не свернем назад!

В дыму, где шли на запад люди,
Угас его прощальный взгляд...
Ужель когда-нибудь забудут,
Как умирал в бою солдат?

Мне захотелось узнать, когда, в каком месте были написаны эти стихи. Учительница ответила, что Владимир Павлович написал их весной 1942 года под Ржевом, когда наши части бились с фашистами у деревни Старшевицы.

— Постойте, постойте,— от волнения я с трудом выговаривал слова.— Так ведь в той же самой деревне, в то же самое время мой отец...

Маргарита Павловна сразу догадалась, что я хотел сказать.

— Да, вполне возможно, что стихи эти посвящены вашему отцу,— и она вынула из папки еще одно письмо — фронтовой треугольник.

Каково же было мое изумление, когда я увидел, что письмо написано знакомым почерком, тем самым почерком, который мы с мамой запомнили на всю жизнь. Письмо написал политрук роты связи 227-го стрелкового

полка Николай Яковлевич Буденный, приславший нам когда-то извещение о гибели отца. На этот раз политрук во всех подробностях описал сражение за деревню Старшевицы, рассказал в письме, как в начале мая фашисты открыли огонь по нашим солдатам и как отважный боец — это был мой отец! — первым выскочил навстречу фашистам, повел за собой остальных красноармейцев и как, нарвавшись на вражескую мину, упал в пламени взрыва.

В конце письма политрук написал, что храбрый боец был похоронен на окраине деревни Старшевицы с боевыми почестями и что красноармейцы, отомстив врагу за его гибель, подняли над отвоеванной деревней красный флаг...

— В стихотворении то же самое,— сказал я.— Будто один человек писал.

— Ничего удивительного,— объяснила Маргарита Павловна.— Политрук Буденный и фельдшер Нажимов служили в одном полку, воевали на одном и том же участке. Они оба могли знать вашего отца и, наверное, присутствовали на его похоронах.

— А почему там дедушкиной могилки нет? — спросила Наташа.

— Как так нет? Должна быть. Вот приедете в Старшевицы и разузнаете.

— Папа уже разузнавал. А ему сказали — нет там никакой могилки.

— В Старшевицах нет, так в другом селе есть. Некоторых после войны на новое место перезахоронили. Может, и твоего дедушку тоже...

— Мы с папой обязательно найдем могилку! Я на нее цветы положу. А потом, когда кончатся каникулы и я пойду в школу, всему нашему классу прочту стихи про дедушку.

Наташа достала из своего рыжего портфеля тетрадь и переписала туда стихотворение фронтового фельдшера, который служил и воевал вместе с дедушкой.

ПОДВИГ ЕГО НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТСЯ!

Ночевали мы с Наташей в гостинице. Допоздна разговаривали о ржевских ребятах-следопытах. Какие же они молодцы! Сколько километров пройдено ими, сотни писем

написаны в разные концы страны. И все это для того, чтобы не были забыты имена героев, чтобы не было на нашей земле безымянных солдатских могил.

Проснувшись рано утром, мы стали искать машину до деревни Старшевицы.

Накрапывал дождь. Нам сказали, что и в хорошую-то погоду туда добраться нелегко, а в распутицу и думать нечего!

Но нам повезло — райкомовская машина отправлялась в тот район. Мы с Наташей пристроились на заднем сиденье, за спиной шофера, общительного парня, и он всю дорогу, пока мы ехали, кивал головой то в одну, то в другую сторону. Рассказывал, какие бои проходили когда-то вокруг.

Где бы мы ни проезжали — по слякотной дороге вдоль зеленой речки Холынки, по тихим улицам деревень Тимофеево и Галахово, которые когда-то были дотла сожжены фашистами, по жиденькому перелеску, сумрачной полосой вставшему поперек поляны за деревней Дешевка,— везде находили следы давным-давно отшумевшей войны. Широкие воронки и узкие окопные впадины, в которых поблескивала вода, развалины блиндажей и заросшие холмики могил, памятники и обелиски.

На машине мы ехали не так уж и долго — каких-нибудь полчаса.

В восемнадцати километрах от Ржева, близ нескольких домиков на поляне, шофер заглушил мотор и сказал:

— Приехали! Доставил вас точно по адресу!

Мы с Наташей сошли на землю, а машина помчалась дальше, в соседний колхоз.

Так вот она какая, деревня Старшевицы! В ней всего восемь домов, да и те, как объяснил нам еще по дороге шофер, построены в послевоенное время. От деревни, объединявшей когда-то в колхозе «Красные Старшевицы» около сотни дворов, ничего не осталось. Она была снесена вражескими снарядами, превращена в пепелище.

Лишь старая ветла стоит на околице, разбросав свои корявые, оголенные войной ветви. Стоит как печальное напоминание о былых ранах и бедах.

Из старых жителей деревни мы отыскали лишь двоих: пенсионерок Елену Федоровну Волкову и Евдокию Ивановну Цветкову. Они рассказали нам о страданиях, перенесенных во время фашистского нашествия.

Почти целый год деревня находилась на передней линии обороны. Враг окопался в двух километрах от Старшевиц, в деревне Дешевка, и беспрестанно забрасывал красноармейцев снарядами и минами, посыпал бомбами с самолетов.

Я показал пенсионеркам фронтовые письма и довоенные фотокарточки отца.

— Смотри-ка, Федоровна, да это будто жилец твой? — неожиданно воскликнула Евдокия Ивановна.— Лицом точь-в-точь...

— Не может того быть,— не поверила Елена Федоровна и, взяв из ее рук снимок, поднесла поближе к глазам, взглянула пристально.— Вроде бы он и есть, постоялец мой...

— Это мой дедушка,— гордо сказала Наташа.

— Значит, он самый. Кому ж еще быть! На постой его и еще двух солдатиков к нам определили. Да редко мы их видели. День-деньской они на позиции — в окопах, значит.

— Все ж, наверное, кое-что запомнилось? — допытывался я.— Каким он был? Что делал, что говорил?

— Говорил-то он мало. Не любил словами разбрасываться. А выглядел он обыкновенно, как и все прочие солдаты. Забежал как-то к нам под вечер. На дворе пурга. Думала, обогреться в избу пришел. А он, минуя печурку, сразу за стол. Ножичком быстро-быстро карандашик заточил и стал писать. Спросила его — не письмо ли домой? А он мне ответил, что от сынишки хорошую весточку получил. Сына-то, вишь, пионеры своим вожаком избрали. С нежностью он это сказал. Гордился сыном-то. Вот и выкроил свободную минутку, чтобы ответ ему написать. Среди треугольничков, что вы с собою принесли, возможно, и этот сохранился... А может, и не дошло то письмо до вас, кто знает! Заваруха у нас тогда случилась. Самолеты, как саранча, на деревню налетели и давай бомбы кидать. Все вокруг тряслось от взрывов. Он — письмо в карман, автомат — в руки. И за порог. В окопе и заночевал. Ну, а потом мы сами к ним на позицию зачастили. Помогали солдатикам как могли: траншеи в промерзлой глине копали, раненых бинтовали, гимнастерки и портянки стирали, на кухне солдатскую похлебку готовили. А в конце января враг так по деревне ударил, что ни одной избушки не уцелело. До основания разбом-

били. Попрятались мы от стужи в сарай. Он вон по ту сторону стоял, за ветлой одинокой.

Елена Федоровна вздохнула тяжело и смолкла.

— Вас фашисты сжечь хотели, да наши солдаты помешали,— сказала Наташа.

— Откуда знаешь? Уж не от детишек ли, что минувшим летом со своей учительницей нас навестили? — спросила Елена Федоровна.— Они мой рассказ в тетрадку записали. Что правда, то правда — погибли бы мы, если бы не красноармейцы. А первым пришел на выручку знаешь кто? Твой дедушка, спаситель наш!

— Как хорошо, что мы с вами встретились!

— С кем же еще и встретиться! От той лихой военной поры мы только вот с ней, подружкой моей, Дуней Цветковой, и задержались в Старшевицах. Остальных жизнь разбросала. Кто в соседний колхоз подался, кто в Ржев или Калинин, а кто еще дальше. А мы вот на прежнем месте себе новые гнезда свили. Не жалуемся. К нам то и дело посетители заглядывают. И все, как вы, с расспросами — не помним ли тех, кто в наших краях бился, кровь проливал за город Москву.

— Москва от вашей деревни далеко,— сказала Наташа.— Мы долго ехали и шли...

— Не скажи, внученька! До Москвы от нас рукой подать. В былые-то годы, в молодость свою, я туда нередко за покупками езживала. Быстро оборачивалась. В субботу уедешь, а в воскресенье уже дома! Разве это далеко? Наш Ржев аккурат перед Москвой стоит, дорогу к ней сторожит. А Старшевицы охраняют дорогу на Ржев. Вот и получается, мы с Москвой рука об руку живем. Воины нашу деревеньку обороняли, а чувствовали за спиной Москву, всю нашу землю огромную, от края до края. Оттого и бились яростно, себя не щадя.

Я достал из пачки одно из отцовских писем:

— Правду говорит Елена Федоровна. Вот послушай, Наташа, что в те дни писал отец с фронта: «Мне, может, не придется вернуться, потому что знаете, каково здесь... По-прежнему воюю около города Ржева Калининской области. Вокруг — разрушенные села, танки и пушки, отвоеванные у врага, а также трупы убитых гитлеровцев... Слышна стрельба. Жизнь у нас, конечно, понятно какая. Но наш долг — не допустить врага к Москве, уничтожить кровавый фашизм... Волков бояться, так и в лес не ходить.

Жив буду, то не помру... До скорого свидания, до возвращения с победой! У нас здесь начинается весна, начинает снег понемногу таять...».

— Начинается весна,— задумчиво повторила Елена Федоровна.— Уж как все мы ждали ту весну — и представить не можете. В холодной землянке прятались. Да разве упрячешься — снаряды, как град, падают. И ветер над обугленным пустырем злым волком гуляет, ревет со страшной силой. А бойцы — так те круглые сутки, в мороз и пургу, в окопах, на стуже лютой, в наспех вырытых блиндажах. Мучение одно! Как оттепель наступила, думали, полегчает немного, да фашист тут с новой силой залютовал...

Слушая Елену Федоровну, я держал перед собой отцовские треугольники, и она время от времени просила меня прочитать то одно, то другое письмо.

«Жизнь моя,— написал отец 13 апреля 1942 года,— протекает, конечно, не так легко, потому что война, и все это создает трудности, их надо переносить. Вот скоро победим фашизм и тогда займемся мирным строительством. Враг держится упорно, но его надо выбить! И мы выбьем!»

А в следующем письме, последнем в своей жизни, отец написал о приближении радостного весеннего праздника.

«Поздравляю вас с Первомаем! Желаю вам хорошо встретить и проводить его! Я, конечно, оторван от вас на далекое расстояние и должен быть готов отразить немецких захватчиков, не считаясь со своей жизнью. Жив буду — не помру. Здесь стало тепло. Растаял снег. Подсыхает. Бои идут. Враг цепляется за каждый кустик. Трудности большие. Но настанет час, и враг будет уничтожен... У нас здесь, на фронте, очень весело — гром днем и ночью».

— Гром без молнии,— со вздохом объяснила Елена Федоровна.— Это боевые орудия громыхали. Сколько наших в бою пало — не счесть. Но фашиста красноармейцы в деревню не пустили, сдержали оборону. Потом, когда врага погнали дальше, мы вздохнули облегченно, новую жизнь стали налаживать... А совсем недавно — подумать только, столько лет прошло!— ребята сельские разыскали в песке на берегу еще двух погибших за Старшевицы. По солдатским жетонам узнали фамилии и домашние адреса

героев. На похороны приезжали родственники — школьники их пригласили...

Наташа раскрыла нашу путевую тетрадь и прочитала Елене Федоровне стихотворение бывшего фронтового фельдшера Владимира Нажимова «Боец упал на поле боя».

Когда она произнесла последнюю фразу стихотворения:

Ужель когда-нибудь забудут,
Как умирал в бою солдат?—

Елена Федоровна смахнула слезу с глаз и сказала:

— Хоть и не довелось мне видеть, внученька, как погибал твой дедушка, но сердце подсказывает — про него стихи эти! Про подвиг его. И про жизнь его.

— Все собираюсь спросить у вас, Елена Федоровна, да никак не решусь,— сказал я.— Боюсь, что и вы этого не знаете... Несколько лет тому назад писал я письмо в Старшевицы, просил сообщить, где могила отца, а мне ответили, что ее в деревне нет.

— Верно ответили,— сказала Елена Федоровна.— Была, а ныне нет. Прах героев, павших в нашей деревне, после войны вон туда, на другой край поля, в село Полунино перенесли. Там братское кладбище. Место приметное, высокое. И деревья вокруг. Не то, что у нас. Я точно знаю — ваш отец там...

Елена Федоровна повела нас с Наташей в палисадник перед домом. Там, под деревьями, цвели георгины, пышные и яркие. Хозяйка нарвала огромный букет алых цветов и, вручив его мне, сказала.

— Пусть это будет от всех нас ему, защитнику нашему.

Вечером мы с Наташей побывали на братском кладбище. Оно совсем недалеко от деревни.

Здесь покоятся те, кто погиб под Старшевицами.

Мой отец похоронен под одним из холмиков, между белоствольных березок, вставших, как солдаты, в траурный караул у надгробных плит.

А чуть подальше, рядом с ивами, что плакуче свесили ветви к земле, поднялся скорбный памятник — окаменел от горя одинокий воин. Крепко сжав автомат в руке, безмолвно склонил он голову над могилой. Словно прощается со своими боевыми друзьями, которым не суждено до-

жить до победы, но которые своей кровью, пролитой на полях сражений, приблизили этот радостный час.

Еще не увяли венки, положенные у ног каменного солдата. На широкой ленте — золотые слова: «Дорогому сыну от мамы». Рядом венок поменьше. А вот еще один. И еще...

Наташа читает вслух надписи на лентах:

«От учащихся — воинам, павшим в боях за Родину»,— выведено неуверенной детской рукой.

«Дорогому отцу, Ванину Ивану Михайловичу, с глубокой скорбью и благодарностью. Дочь Ольга. Соликамск».

Чуть пониже — новые слова на ленте: «Милому дедушке Василию от внука Пети Симакова. Буду таким же отважным, как ты, дедушка!».

А вот еще два венка. Их только что принесли сюда работницы совхоза, в котором трудятся теперь жители деревни Старшевицы:

«Погибшим воинам от совхоза «25 лет ВЛКСМ».

«Героям, павшим в боях за Родину, от граждан Образцовского сельсовета».

К братскому кладбищу вдоль березовой аллеи протянулась ровная дорожка. Она аккуратно расчищена, посыпана песком. По бокам — цветочные клумбы.

Я спросил у женщины, что принесла к памятнику венок от сельсовета, чьими заботливыми руками наведен вокруг такой порядок, кто посадил эти цветы?

— Сообща уход ведем, милок,— ответила она.— Но пуще всех, пожалуй, ребятишки стараются. Они хотя и маленькие, но тоже понимают, кому обязаны своим счастьем, кто им радость и мир добыл. Приезжают к нам из далеких мест родные и близкие погибших. С одним из них — фамилия его Иванченко — каждый год встречаюсь вот у этой могилки. Отец у него здесь похоронен. И сын поклониться ему приезжает. Говорил он мне, что приезжает сюда, как в дом родной, душой чувствует, будто с отцом своим встречается. По весне — третьего марта, когда Ржев был освобожден, и в майский День Победы — у нас здесь, у братской могилы, митинги устраиваются. Со всего Союза прибывают люди. Рассказывают о сыновьях, отцах и мужьях своих, что в наших местах сражались. Спокойных речей не бывает. Сыновья клятву дают — не посрамить чести отцовской... Приезжайте

весной сюда и сами увидите, какое великое множество народу на поклон к солдату приходит...

Я опустился на колено и положил на гранитную плиту венок, сплетенный из красных, пламенеющих, как костер, георгинов.

А Наташа побежала на поле и нарвала там много-много белоснежных ромашек, положила их рядом с нашим огненным венком у памятника солдату.

НАТАШИНО СОЧИНЕНИЕ

«Летом я ездила к дедушке.

Он писал папе письма с большой войны и бил фашистов.

Папа тогда был таким же маленьким, как я, а дедушка таким, как папа сейчас.

Я никогда не видела войны, знала о ней лишь из кино и книжек.

Теперь я сама увидела, где была война.

А еще я увидела своего дедушку. Он защищал Москву и Ржев.

Он и теперь, как прежде, стоит с автоматом в руке и охраняет мир во всем мире.

Он всегда на посту».

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕСНИ



Наверх вы, товарищи! Все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.
Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
Наверх якоря поднимают.
Готовьтеся к бою! Орудия в ряд
На солнце зловеще сверкают.

Из старой песни

Мальчишки, жившие в одном доме с ним, не видели ничего примечательного в этом старом молчаливом человеке, который каждое утро, покашливая и слегка сутулясь, выходил со двора на зеленую рабочую улицу. Старик как старик. Самый обыкновенный. Таких в городе много. Только этот, пожалуй, неразговорчивый. Слова от него не дождешься.

2 1399

Мальчишки, знавшие наперечет всех замечательных людей родной улицы, решили, что жизнь у старика неинтересная, скучная. Ему о ней просто-напросто и рассказать-то нечего. Вот он и молчит, уклоняется от встреч с людьми.

Возможно, так бы никто и не узнал о славном прошлом этого тихого, застенчивого человека — Моисея Ивановича Чернышева, охранника с куйбышевского кабельного завода, если бы не один случай.

А произошло вот что. Пришел Чернышев как-то на работу и отозвал в сторонку своего приятеля Ивана Финошина. Развернул перед ним газету, взволнованно указал на снимок, что был напечатан в правом углу полосы.

Со снимка смотрел бравый старик в матросской форме, в бескозырке, на ленточке которой отчетливо выделялось слово «Варягъ».

— Смотри — наш Тихон Чибисов... Вместе служили. Жив, оказывается. Награду в Москве получил. Дружками были...

Моисей Иванович говорил сбивчиво, несвязно, и Финошин ничего не понял.

— Какой такой Чибисов? О чем ты?

— Экий ты, право, непонятливый! — махнул рукой охранник.— Да я, собственно, к тебе вот зачем,— подскажи, как адрес дружка узнать. Поздравить с наградой надобно, о житье-бытье расспросить. Может, не забыл еще...

Финошин взял газету. В глаза бросился заголовок, набранный жирным шрифтом: «О награждении медалью «За отвагу» моряков крейсера «Варяг».

Стал читать дальше: «В ознаменование пятидесятилетия со дня героического подвига русских моряков крейсера «Варяг», за личное мужество и отвагу, проявленные в бою с японской эскадрой при Чемульпо 9 февраля 1904 года, наградить...». В списке награжденных была и та фамилия, которую назвал Моисей Иванович.

— Выходит, и ты, Иваныч, служил на «Варяге»? — удивленно поднял брови Финошин.

— А то как же... При Чемульпо японцев бил.

— И молчал до сих пор! Вот чудак!

— А чего ж тут говорить-то! Давнее дело...

Чернышева окружили рабочие. Начались расспросы. Старик отмахивался:

— В газетке о том написано. Все как есть...

Кто-то посоветовал:

— Ты, Иваныч, правительству о себе напиши. Шутка-ли — герой Чемульпо! Глядишь, и тебя к награде представят.

— Скажешь тоже... Мне вот адрес Тишки Чибисова, дружка моего, узнать бы. И больше ничего...

— В «Красную звезду» обратись. Газета военная. Там знают.

Правительству о себе Чернышев писать не стал, а вот в «Красную звезду» послал письмо: просил прислать адрес своего давнего товарища по службе на «Варяге».

На работе теперь покоя не давали старому моряку: расскажи да расскажи о «Варяге»! Надоели расспросами...

Пришлось пригласить молодых друзей к себе домой и, вспоминая о былом, показать кое-какие реликвии, уцелевшие с той поры.

...Крейсер «Варяг»—лучший и самый маневренный корабль Тихоокеанской эскадры — находился в тот день в нейтральном корейском порту у Чемульпо. Рядом стояла канонерская лодка «Кореец» — тихоходное, устаревшее судно. Чуть поодаль на рейде виднелись силуэты еще четырех военных кораблей — английского, французского, итальянского и американского.

«Состоять в распоряжении посланника в Сеуле..,— было написано в инструкции, врученной командиру «Варяга» капитану 1 ранга Всеволоду Федоровичу Рудневу.— Не препятствовать высадке японских войск, если бы таковая совершилась до объявления войны... Заведовать десантом и охраной миссии в Сеуле...» В числе других наставлений командиру корабля в инструкции было и такое: «Поступать по своему усмотрению так, как надлежит при всех обстоятельствах... Ни в коем случае не уходить из Чемульпо без приказания, которое будет передано тем или иным способом».

Обстоятельства не заставили себя долго ждать.

В то утро на крейсере был поднят флаг. На палубе «Варяга» появился, принятый по всем правилам морского церемониала, командир французского крейсера. Новость, сообщенная им, была неприятной и неожиданной для Руднева — французский капитан сообщил, что начались военные действия между Японией и Россией. Правда, слухи о возможном военном столкновении доходили и прежде. Руднев даже отправил телеграмму посланнику в

Сеул: «Слышал о разрыве дипломатических отношений, прошу сообщить сведения». Но ответ поступил такой: «Слухи о разрыве распускаются здесь частными лицами. Никакого сколь-нибудь достоверного подтверждения этим слухам не получено. Было бы очень желательно повидаться с Вами, переговорить». Телеграфный ответ не принес успокоения Рудневу. «Достигли слухи,— дает он телеграмму в Порт-Артур, где незадолго до этого он служил в должности старшего помощника командира,— о разрыве дипломатических отношений; в связи с частой задержкой депеши японцами прошу сообщить, было ли нам приказание дальнейших действий».

На запрос ответа не последовало.

В это время, 24 января 1904 года, японский флот под командованием вице-адмирала Того уже направился к Порт-Артуру, а другие корабли под командованием контр-адмирала Уриу взяли курс на Чемульпо. Дипломатические отношения Японии с Россией были разорваны.

Руднев, не имея необходимых распоряжений от русского посланника в Сеуле, все еще не мог поверить в это. И тогда, желая окончательно разобраться в русско-японских отношениях, он вместе с французским командиром решил самолично побывать на английском крейсере «Талбот». На этом корабле Рудневу был вручен ультиматум от имени японского командования. «Варягу» и сопровождавшей его канонерской лодке «Кореец» было предложено в тот же день покинуть порт, иначе японская эскадра откроет огонь по русским кораблям.

Как стало известно Рудневу, японский адмирал Того еще несколько дней назад получил императорский указ начать военные действия против России и поздно ночью пригласил к себе на флагманское судно «Микаса» всех подчиненных ему командиров с других кораблей, чтобы сообщить о секретном распоряжении императора. Флагманы и командиры японских судов с воодушевлением встретили императорский указ. В конце встречи адмирал сказал:

— Я предлагаю теперь же со всем флотом направиться в Желтое море и атаковать суда неприятеля, стоящие в Порт-Артуре и Чемульпо. Начальник четвертого боевого отряда контр-адмирал Уриу со своим отрядом (с присоединением крейсера «Асама») и девятым и четырнадцатым отрядами миноносцев имеет задание идти в Чемульпо

и атаковать там неприятеля, а также охранять высадку войск в этом месте. Первый, второй и третий боевые отряды вместе с отрядами истребителей пойдут прямо к Порт-Артуру. Отряды истребителей ночью атакуют неприятельские суда, стоящие на рейде.

Именно так все и произошло.

Командиры иностранных кораблей, стоявших на рейде, заявили, что они тут же покинут порт, если русские не подчинятся японскому предупреждению.

— Теперь, Чернышев, жди боя,— ординарец командира крейсера Тихон Прокофьевич Чибисов недовольно покосился в сторону иностранного судна «Талбот».— Нашего командира приглашают к старшему на рейде. Будут обсуждать создавшееся положение.

— Интересно, чем дело кончится?

— Ясно чем — наш Руднев без боя корабль не сдаст.

Всеволод Федорович Руднев, командир корабля, любимец всего экипажа, вернулся на борт «Варяга», как всегда, спокойный, сдержанный. Только глаза выдавали волнение.

По сигналу боцманской дудки все выстроились на палубе.

Руднев обратился к личному составу с речью. Командир говорил о том, что Япония начала войну против России и что просьба его к иностранным кораблям о сопровождении «Варяга» до границ корейских вод отклонена. У русских моряков было два выхода — либо принимать бой с противником, который сильнее в шесть раз, либо — сдаться в плен.

— Помните, мы — русские,— горячо сказал командир,— будем сражаться до последней возможности, до последней капли крови... Русские моряки не сдаются!

Матросы громко закричали «ура!».

Крейсер «Варяг» поднял якорь. Оркестр грянул боевой марш, и корабль, вспенив за бортом воду, направился к выходу в море. За ним следом шел «Кореец». Они проходили мимо иностранных кораблей, расцвеченных флагами. Ветер донес до «Варяга» мелодию русского гимна, которым зарубежные моряки провожали наших героев.

Команда крейсера готовилась к сражению: матросы дежурили у орудий, выбросили за борт все лишнее, что могло загореться, и проверили люки.

По распоряжению Руднева к флагу дежурными приставили самых смелых матросов.

— Если, паче чаяния, флаг будет сбит,— сказал командир,— незамедлительно заменить его другим, чтобы враг ни на минуту и думать не посмел, будто флаг перед ним спущен. Не бывать этому!

Японцы высадили на берег десант и своей эскадрой закрыли выход в море. Русский корабль оказался в ловушке.

В нескольких милях от рейда Чернышев, стоявший на палубе, различил японскую эскадру. Шесть крейсеров и восемь эсминцев шли наперерез русским кораблям.

На флагманском крейсере «Асама» появился сигнал: «Сдавайтесь на милость!».

Но на «Варяге» и «Корейце» вились боевые Андреевские флаги. Это значило — русские не сдаются.

Русские и японские корабли шли на сближение.

Моисей Чернышев занял свое боевое место у электрической лебедки, подающей снаряды из погреба. Рядом находился орудийный расчет Сергея Зарубаева. Он был готов в любую минуту открыть огонь по врагу.

На флагманском японском корабле сверкнул выстрел. Высокий фонтан взрыва поднялся далеко за кормой. Затем такие же всплески стали появляться все ближе и ближе от «Варяга». И вот уже у самого борта вздыбился и ухнул грозный столб воды. На мачте «Варяга» гордо реял боевой флаг.

Руднев отдал команду:

— Огонь!

Первые снаряды ударили по броне крейсера «Асама». Два русских корабля вступили в неравный бой.

Содрогнулась палуба «Варяга». Враг посылал снаряд за снарядом в сторону русского крейсера. Наши моряки отвечали метким огнем. На флагманском японском корабле ослепительно вспыхнул взрыв. Разрушен кормовой мостик «Асамы», повреждена кормовая башня, начался пожар.

Ко дну пошел японский миноносец, пытавшийся начать атаку. Отделился от японской эскадры второй миноносец, стал бить по русскому крейсеру. «Варяг» ответил прицельным огнем. Миноносцу пришлось отвернуть.

Море бурлило от разрывов снарядов, порозовело от пламени пожаров, вспыхнувших сразу на нескольких кораблях.

Огонь пожара не обошел и «Варяга». Матросы дружно бросились тушить пламя. Снова взрыв. Выведены из строя часть орудий и дальномерный пост.

А тут новая беда — осколок угодил в голову командира. Кровь залила лицо, мундир. Санитар спешно перевязал ему рану.

— Ничего, Чибисов, пройдет! — успокоил ординарца Руднев. Главное — никому об этом ни слова. Чтобы без паники!

Но на «Варяге» среди матросов уже пронеслась молва — Руднев убит во время взрыва на капитанском мостике.

Ординарец поспешил сообщить об этом командиру, опасаясь, что ложный слух может пагубно повлиять на боевой дух команды.

И тогда Руднев, не долго думая, выбежал на мостик, весь окровавленный, без фуражки, с перебинтованной головой. Крикнул, заглушая раскаты выстрелов, так, чтобы слышали все:

— Братцы, я жив! Целься верней!

Слова его влили новые силы в поредевшие ряды команды.

Ни на минуту не утихал бой. Орудийный расчет Зарубаева посылал на врага снаряд за снарядом. И вдруг... нет снарядов! Застопорилась лебедка электроподъемника, возле которого неотлучно находился Чернышев.

Молодой матрос не растерялся — он быстро нашел повреждение и, не медля ни минуты, под непрерывным обстрелом противника ликвидировал его. Лебедка опять потянула из погреба тяжелые снаряды.

— Спасибо, браток! — крикнул молодому матросу вспотевший, покрытый копотью Зарубаев.

Тяжело ранен товарищ Чернышева Тихон Чибисов, ординарец Руднева. Но своего боевого места он не покинул.

Командир, заметив кровь на одежде моряка, приказал:

— Чибисов, немедленно в лазарет!

Исполнительный моряк, безотказно выполнявший все приказания командира, на этот раз ослушался:

— Пока жив, останусь здесь, рядом с вами!

О героическом поведении своего ординарца, о своем ранении и о дальнейшем сражении легендарного русского крейсера с неприятельской эскадрой очень скупо, точно,

взволнованно написал участник этих событий — сам командир. В его отчете «Бой «Варяга» у Чемульпо 27 января 1904 года» есть такие строки:

«Непрерывно следовавшими снарядами был произведен пожар на шканцах, потушенный стараниями ревизора мичмана Черниловского — Сокол, у которого осколки снарядов изорвали бывшее на нем платье. Пожар был опасен, так как горели патроны с бездымным порохом, палуба и вельбот № 1 (деревянный)...

При проходе траверза острова Иодольми снаряд перебил трубку, в которой проходили все рулевые приводы; одновременно с этим осколками другого снаряда, разорвавшегося у фок-мачты, влетевшего в проход у боевой рубки, был контужен и ранен в голову командир крейсера, убиты наповал стоявшие рядом с ним по обеим сторонам штабгорнист и барабанщик, ранен в спину тут же стоявший рулевой старшина Снигирев (не заявил о ране до конца боя, оставаясь при исполнении своей обязанности, рана оказалась впоследствии средней тяжести).

Одновременно ранен в обе руки ординарец командира квартирмейстер Чибисов (завязал раны платком, чтобы остановить льющуюся кровь и отказался идти на перевязку, говоря, что пока жив, не покинет ни на минуту своего командира). Этим же снарядом выведены из строя две пушки (около боевой рубки) и, кроме вышеупомянутых, убиты четыре человека и один ранен из прислуги этих пушек. Управление крейсером немедленно было переведено в румпельное отделение и ответы обратно были почти не слышны—пришлось управляться машинами. Это управление было крайне затруднительно, так как крейсер плохо слушался, будучи на сильном течении; необходимо добавить, что в недалеком расстоянии с обеих сторон были камни и отмели. В 15 час. 20 мин. сдвинулся с места котел № 21, давший течь, в 12 час. 25 мин. показалась течь в угольной яме № 10 от пробоины, в 12 час. 30 мин. то же в — № 12».

— Тут, в книжице этой, все в точности описано, безо всякой прибавки и выдумки,— сказал Моисей Иванович Чернышев, показывая товарищам по работе пожелтевшую, потрепанную брошюру командира «Варяга», изданную в Петербурге до революции.— Наш командир правдивым человеком был, во всем любил точность. Много знал и повидал на своем веку. Шутка ли сказать — трижды зем-

ной шар обогнул и девять раз на разных кораблях заграничные плавания совершил! И все прочие родственники его до морского дела охочими были. Еще в петровские времена морская династия Рудневых вперед вышла: они и в морском бою при Чесме, и Наварине, и в Севастопольской обороне по-геройски за Русь-матушку бились. А командир-то наш, Всеволод Федорович, в Петербургском морском училище курс обучения прошел, удостоился Нахимовской премии и по этой самой причине имя его было занесено в училище на мраморную доску. Потом рудневская фамилия была удалена с этой доски — провинился он перед государем-батюшкой, не захотел в революцию 1905 года отдать под суд матросов, недовольных царскими порядками. К нам, рядовым, он относился с неизменной уважительностью, доверчиво, не задавался и не чванился. Не то что иные господа офицеры. Неграмотным матросикам сам помогал письма домой писать. И из себя был видный мужчина, характера ровного и спокойного. Вот полюбуйтесь...

И пошли гулять по рукам снимки. На одном изображен капитан 1 ранга Всеволод Федорович Руднев при эполетах и орденах. Горделивый вид. Огромный лоб. Усы и бородка, аккуратно подстриженные и расчесанные, делали его старше своего возраста — ему не было тогда и пятидесяти лет, тридцать из которых он провел на флоте. На втором снимке — четырехтрубный крейсер «Варяг» во всей его красе — стройный и могучий, с красивыми обводами, с многочисленными орудиями, с вьющимся Андреевским флагом на мачте.

— Красавец! — погладил шершавой ладонью снимок Моисей Иванович и положил его в папку рядом с фотокарточкой человека, который когда-то повел «Варяг» в последний, смертный бой.

— А дальше-то что с «Варягом» случилось? — не терпелось узнать молоденькой практикантке из ремесленного училища. Ее Моисей Иванович тоже пригласил к себе в гости.

— Совсем неважные дела пошли дальше,— вздохнул он.— Враг вплотную подступил. У «Варяга» снарядом продырявили левый борт под водой. Словно водопад хлынул. Кочегарку водой заполнило. Через люки угольной ямы стала вода проникать к топкам. И тут бы крышка нам, если бы ни квартирмейстеры Жигарев и Журавлев.

Задраили они угольную яму. Вода перестала течь. Только ненадолго. Бухнул снаряд, и снова через подводную пробоину внутрь корабля хлынула вода. Корабль накренился. Вместе с другими матросами бросился я заделывать пробоину. Тщетно! Новые пробоины появились в борту «Варяга». Слышу командирский приказ — вернуться на рейд, исправить повреждения и опять вступить в бой. Не удалось японцам захватить наше судно. Плыли мы в порт, не спуская своего флага. На рейде тщательно осмотрели крейсер: повреждения быстро исправить не удастся. Опасность нависла — как бы корабль не угодил в руки врага. Один у нас оставался выход — уничтожить судно. Так решило офицерское совещание. К такой же мысли пришли и мы, рядовые матросы. Английский крейсер «Талбот» согласился принять к себе на борт часть нашей команды. Немало раненых русских матросов взяли к себе другие корабли нейтральных государств. Когда вся наша команда перебралась в безопасное место, на крейсере по приказу Руднева были открыты кингстоны. В трюмы хлынула вода. Последними покинули корабль наш отважный командир и боцман Петро Оленин, который с начала и до конца боя оставался на посту у флага. Со слезами на глазах я, как и мои товарищи по экипажу, провожал корабль в последний путь. Медленно, словно прощаясь с моряками, он скрывался в бурлящей воде...

До конца жизни сохранился в памяти матроса Моисея Ивановича Чернышева этот героический день. За бой при Чемульпо Моисей Иванович был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и серебряной медалью с надписью: «За бой «Варяга» и «Корейца». 27 января 1904 г.— Чемульпо».

— Вот закрою глаза,— рассказывал Чернышев,— и вижу тревожное, свинцовое море, вижу родной корабль свой, гордо уходящий от врага под воду, вижу бесстрашного Руднева, дружков моих с «Варяга», вместе с которыми потом пришлось пережить и повидать такое, что вам, молодым, и представить трудно.

Вернувшись из-за границы на родину, которая тепло встретила отважных моряков с героического крейсера, Моисей Чернышев служил потом матросом на Балтийском море в 14-м флотском экипаже. Он, как и многие моряки из команды «Варяга», уже тогда прочно связал свою судьбу с революционным движением. В числе восставших мо-

ряков Кронштадта, снявших белые чехлы со своих бескозырок, в 1905 году шел под красным знаменем и Моисей Чернышев. Во время налета на воинский склад с вооружением царские жандармы схватили его с горсткой смельчаков и предали суду. Моряков судил военный трибунал. Шесть лет каторги — таков был приговор...

И снова попал на Дальний Восток Моисей Чернышев, но на этот раз не как матрос, а как осужденный на каторгу за участие в антиправительственном бунте.

С каторги бежал и несколько лет жил под разными фамилиями, скрываясь от царской полиции.

Лишь Великий Октябрь вернул ему настоящее имя. В 1918 году приехал в Самару, поступил на завод. Потом — инженерно-строительные курсы, работа в железнодорожных мастерских...

Когда началась битва с фашизмом, Моисею Ивановичу пошел седьмой десяток. Но он, несмотря на возраст, работал для фронта. Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», Почетные грамоты завкома — свидетельства его трудовой доблести.

Обо всем этом, о своей жизни, богатой событиями необычными и волнующими, написал он в большом письме, которое отправил в далекий тульский колхоз «Серп и молот» приятелю своей матросской юности Тихону Прокофьевичу Чибисову. Герой сражения при Чемульпо отозвался незамедлительно. И с той поры завязалась между старыми моряками переписка, сердечная и откровенная.

...Утро. По улице имени Ворошилова спешат в школу неугомонные мальчишки. Размахивая портфелями, они смеются и галдят. Но, проходя мимо старенького, приземистого домика под номером 167, неожиданно замедляют шаг, смолкают. В это время по улице, направляясь на работу, должен пройти человек, о героической судьбе которого узнала теперь вся улица. Дети ждут его.

И вот из-за угла показывается знакомая сгорбленная фигура.

— Матрос с «Варяга» шагает...

— Нам учительница о нем рассказывала.

— А песня? Песня тоже о нем...

— Тише ты! Идет человек из песни.

ЧАПАЕВ — ВПЕРЕДИ!



Весь в крови
выгребал через реку Чапай,
Белой пулей пробита рука.
Не шуми ты, река,
не топи, не качай,
Эй, зачем ты, река, широка!
Волны стонут в тоске
и бегут все вперед.
Никого...
только ветер гудит...
Но Чапаев не умер,
Чапаев живет,
Он, как знамя,
всегда впереди!

Из песни чапаевцев

В то, что Чапаев погиб, долгое время никто не хотел верить. Повсеместно возникали слухи, будто вовсе и не утонул он в реке Урал, доплыл до другого берега — не мог не доплыть, ибо был человеком сильным и ловким, плавал отменно и, к тому ж, как считали многие, смертельная пуля всегда обходила его стороной.

Помню, еще в детстве слышал я в родном саратовском селе Сулаке, где чуть ли ни каждый старик лично знал Василия Ивановича, бок о бок с ним прошел по фронтовым путям-дорогам, такой сказ бывалого чапаевца Александра Ивановича Тоболева:

— Хошь верь, хошь не верь, а Чапаева один наш пастух в двадцать четвертом году близ села встретил. Было такое дело. Старик пас стадо. И вдруг видит — странник по степи бредет. Подошел ближе, поздоровался. Потом присел рядом, закурил. Спрашивать стал про всякие сельские новости, про то, как бывшие чапаевцы живут-здравствуют. А пастух смотрит на него и думает: «Чапаев! Обличьем и разговором точь-в-точь...». Поинтересовался: «Откуда, странничек?». А тот ему: «Вот оттуда и туда-то». Пастух на новый лад разговор заводит, спрашивает в упор: «Знал, мол, Чапаева-то?». И слышит в ответ: «Ну как же не знать? Знаю, хороший парень был. Ну он себя еще покажет!». Больше ничего не сказал. Ушел. А старик-пастух бегом в село пустился. Пришел и рассказывает, божится, что Чапаева видел. Мы бегом туда. Но его уже и след простыл. Опоздали. Ждали мы и думали, что придет он. Не верили мы в его смерть. Ведь тела его, как ни искали, ни в реке, ни на берегу не нашли, когда казаков из Лбищенска вытурили. Много наших бойцов в Урале потонуло. Но все трупы находили — их течением прибивало к одному месту. А Чапаев исчез. И в реке бреднем шарили, и в кустах на берегу искали — не нашли. Вот тут, как знаешь, так и думай. Може, погиб. А може, по сей день по белу свету странствует...

Сказ о Чапаеве-страннике был широко распространен среди жителей Поволжья. Заинтересовались им и историки. К Тоболеву из Саратова по поручению ученых приезжали студенты, слово в слово записали все, что он им рассказывал, и потом свою запись опубликовали в сборнике, посвященном Чапаеву. Кстати говоря, напечатаны там и другие легенды, бытующие в разных поволжских деревнях. И во многих из них содержится эта мысль — Чапаев жив, белые не смогли убить его.

Каким был при жизни, таким и поныне живет в памяти волжан бессмертный герой-полководец, сквозь десятилетия шагающий по дорогам своей легендарной славы в нашу современность. Не хочет, не может народ смириться

с мыслью о его смерти, не желает зачислять в списки павших. Навечно остался он в памяти народной таким, каким был: неустрашимым и мудрым, грозным и веселым, лихим командиром крестьянских полков.

«Где Чапаев, там и победа,— говорили о своем начдиве красноармейцы. — Его ни штык, ни пуля не берут!» Словно и впрямь был он, как богатырь в сказке, заколдован от всяких бед и неудач, от смерти в бою.

Потомственный плотник Василий Чапаев с самых первых шагов солдатской службы удивлял фронтовых друзей безудержной лихостью и геройством, находчивостью и смекалкой, умением из любой ситуации выйти победителем. Он не ведал страха, был неуязвим для врага.

Еще в первую мировую войну на русско-германском фронте Василий Чапаев, рядовой 189-го Белгорайского полка, показал себя солдатом находчивым и бесстрашным, за что ему военное начальство не только прикрепило к погонам нашивки ефрейтора, но и представило к награждению Георгиевским крестом.

И было за что наградить! Зоркий глаз и крестьянская смекалка помогли Василию Ивановичу заметить вечером на берегу речки Пилицы то, чего другие солдаты не заметили: помятые желтые лютики в междуречье, неподалеку от тропинки, идущей к Висле; беспорядочный крик лягушек тоже вызвал подозрения. Доложил Чапаев об этом ротному командиру, и тот разрешил ему отправиться в разведку с десятью однополчанами. Подозрения Чапаева оказались не напрасными — удалось обнаружить большой отряд противника. Василий Иванович не стал ждать, когда подоспеет подкрепление, распорядился, чтобы разведчики цепочкой разбились шагов на десять — пятнадцать друг от друга, и с криком «ура» повели их в атаку.

Немецкие солдаты решили, что на них целый полк наступает, и в панике разбежались. Не удалось неприятелю окружить, прижать наших солдат к реке. Чапаевская находчивость сорвала вражеский план.

И года не прошло, как заслужил Василий Иванович второго «Георгия» — сходив в разведку, он выяснил, что немецкая горная артиллерия и два полка пехоты двигаются по направлению к Ужокскому перевалу в Карпатах, намереваясь нанести боковой удар по русским. Своим донесением он спас родной полк от неминуемого поражения.

В другой раз привел Чапаев в часть «языка», от которого русское командование получило очень ценные сведения. И за это тоже получил «Георгия».

Четвертый же Георгиевский крест выдали ему за то, что, отвлекая неприятеля, он стал перед самыми окопами лихо отплясывать «Камаринского», а затем, рванувшись вперед, метнул в немецкий миномет, мешавший нашему наступлнию, сразу две гранаты. Меньше всего враг ожидал от русского «плясуна» такого подвоха. За беспримерную храбрость командование пожаловало ему чин старшего унтер-офицера.

Домой с русско-германского фронта Василий Чапаев вернулся полным георгиевским кавалером, с четырьмя «Георгиями» на гимнастерке.

Когда свершилась Октябрьская революция, большевика Чапаева назначили военным комиссаром Николаевского уезда, доверили ему командование красногвардейскими соединениями. И тут, в борьбе за власть Советов, во всей полноте и силе проявился полководческий талант крестьянского самородка, имя которого еще при жизни стало легендарным.

Гуляли народные сказания по волжским берегам, по степям уральским — повсюду, где под красным знаменем сокрушали чапаевцы ненавистного врага, очищали родную землю от белогвардейской нечисти. В жарком пекле сражений зарождались эти легенды. И творцами их, как правило, были непосредственные свидетели чапаевских подвигов — бойцы дивизии. В сказочную форму облекали они то, что видели сами, во что верили беспредельно.

Верили бойцы и в бессмертие своего прославленного начдива, которого они любовно называли Чапаем. И как было не поверить, если всегда видели его впереди наступающих цепей, в огне сражения. Острый клинок Чапая сверкал, как молния, и неизменно настигал белогвардейцев. Разгоряченный конь нес Чапая в гущу свинцового ливня, но он выходил из боя живым и невредимым. Когда товарищи по оружию советовали Чапаю не рисковать особенно, поберечь себя, он отвечал с ухмылкой: «За меня, ребята, можете не волноваться. Ничего со мной не случится. Я заколдован, потому и не кланяюсь пуле». Однажды вражий снаряд все ж не миновал Чапая, но и тяжело раненный, он не изменил вере в собственную везучесть, объяснил шутливо: «Это не осколок меня

нашел, а я сам на него наткнулся — невзначай наткнулся, мимоходом!».

Он и своим бойцам прививал бесстрашие, смелость, учил их не бояться опасности, не робеть перед неприятелем даже тогда, когда вражеские силы значительно превосходят.

— Одному хорошо против семерых воевать,— внушал Чапаев бойцам.— А вот семерым против одного — трудно. Семерым нужно семь бугров для стрельбы, а тебе один. Один бугорок везде найдешь, а вот семь бугорков найти трудно. Ты один-то лежи да постреливай. Одного убьешь — шесть останется, двух убьешь — пять останется... А когда шестерых убьешь, то один уж должен сам напугаться тебя... Ты заставь его руки вверх поднять и бери в плен. А взял в плен, веди в штаб. Трусят только зайцы перед собакой, а боец Красной Армии ни перед чем робеть не должен!

Чапаевскую науку побеждать хорошо усвоили красноармейцы. Гнали они белые банды по всему фронту, дрались по-чапаевски, отважно и стойко, каждый старался в бою быть поближе к командиру, не отставать от него. И белые пуще всего боялись их стремительных налетов.

Одно слово «Чапаев» приводило неприятеля в ужас. Иной раз стоило разведке донести, что чапаевская конница наступает, как в стане врага поднималась паника.

Как-то Чапаев с горсточкой бойцов столкнулся в степи с большим отрядом неприятеля. Белогвардейцам не составляло труда окружить и разгромить чапаевцев. Но страх перед именем Чапаева оказался настолько велик, что стоило ему крикнуть: «Я — Чапай! Бросай оружие!», как они сразу же подняли руки. О том, чтобы взять красного командира в плен, перепуганные белогвардейцы и подумать не смели.

Чего только не предпринимали белые генералы, какие только хитрости и козни не чинили, чтобы избавиться от «красного злодея Чапая», заманить его в ловушку. Безуспешно! Более того, сами же в те ловушки чаще всего и попадались. Генерал Толстов объявил, что он даст двадцать пять тысяч золотом тому, кто принесет ему голову убитого Чапаева, а если доставит живым, получит вдвое больше.

После того как однажды в руки белякам попала чапаевская лошадь, пойманная под хутором Зеленым, в бе-

логвардейской армии то и дело возникали слухи, что убит, мол, Чапаев и теперь страшиться нечего, наступать надо на красных, пока они не оправились от потери. Пытались белые и наступать, но, как на грех, всегда нарывались на Чапаева.

Так что слухам о его гибели вскоре вовсе перестали верить. Даже сообщение из Лбищенска взяли под сомнение — трупа-то найдено не было. А тут еще один из чапаевцев, чтобы устрашить белых, нарядился «под Чапая», в бурку и папаху. Расправил усы по-чапаевски, шашку над головой вскинул и айда во главе эскадрона на белых. Те глазам своим не верили — Чапаев-то, оказывается, снова на коне...

Весть о гибели легендарного начдива казалась неправдоподобной не только его врагам, но и друзьям. Когда самарская газета «Коммуна» поместила заметку «Погиб Чапаев, да здравствуют чапаевцы!», заместитель начальника политуправления Туркестанского фронта Дмитрий Фурманов незамедлительно дал опровержение: «Чапаев жив». Бывшему комиссару чапаевской дивизии, который всего лишь месяц назад вместе с комдивом разрабатывал план наступления на Лбищенск — Сахарную, не хотелось верить в смерть своего боевого соратника. К тому же из беседы с работником штаба Ф. Ф. Новицким он узнал, что Чапаев будто бы после лбищенской катастрофы благополучно добрался до 223-го полка и эвакуирован в Уральск.

Вскоре, однако, из достоверных источников стало известно: Чапаев, будучи дважды тяжело раненным, пытался переплыть реку Урал и погиб.

Пройдет несколько лет, и Фурманов так опишет в романе «Чапаев» последние минуты жизни начдива: «Они шаг за шагом отступали к обрыву... Не было почти никакой надежды — мало кто успевал спастись через бурный Урал. Но Чапаева решили спасти.

— Спускай его на воду,— крикнул Петька. И все поняли, кого это «его» надо спускать. Четверо ближе стоявших, бережно поддерживая окровавленную руку, сводили Чапаева тихо вниз по песчаному срыву. Вот кинулись все четверо, поплыли. Двоих убило в тот же миг, лишь только коснулись воды. Плыли двое, уже были у самого берега — и в этот момент хищная пуля ударила Чапаева в голову.

Когда спутник, уползший в осоку, оглянулся,— позади не было никого: Чапаев потонул в волнах Урала...».

Но народная молва еще долго продолжала твердить о спасении любимого героя. Почему? Может быть, не было свидетеля его гибели? Но ведь у Фурманова ясно сказано, что рядом с Чапаевым плыл боец, которому удалось спастись и который все видел.

Да, этот боец был! Более того, он оставил нам свои воспоминания, которые так и озаглавил: «Гибель Чапаева». Они были напечатаны в Рязани в двух номерах газеты «Рабочий клич» за 1927 год. Но и там, под текстом воспоминаний, не была указана фамилия автора — стояли лишь инициалы Т. С. З. Неведомый чапаевец-рязанец, подписавшийся этими тремя буквами, во всех подробностях, взволнованно и живо изобразил картину смертельной схватки чапаевцев с белоказаками на берегу Урала, трагическую смерть Чапаева:

«Сорвал с меня одежду (Чапаев), толкнул в воду, бросился сам и поплыл.

Сведенная рука не давала мне плыть. Я плыл, кружась на одном месте. Он плыл рядом.

Случайно я оглянулся назад, на берег. Там несколько казаков докалывали раненых, которые не могли подняться, ставили пулемет. Один стоял и стрелял, прицеливаясь в Чапаева.

Я выбился из сил и стал тонуть.

— Крепись! — крикнул он мне и чуть поддержал меня.

Оправился, поплыл.

Течение отнесло меня аршина на полтора ниже.

Он стал выбиваться из сил. Раз, другой погрузился в воду.

Я напряг все силы к нему, но сил не было. Руки, ноги не двигались. Он скрылся...

Я потерял сознание...

Я лежал на берегу. Мой взгляд упал на часы, которые стояли, но до этого шли. Попавшая вода остановила их. На них было 9 часов 10 минут.

Это было 5 сентября 1919 года...».

Кто же был этот человек, жизнь которому спас Чапаев? Случилось так, что много лет воспоминания его не были замечены и таинственные инициалы Т. С. З. так и оставались неразгаданными.

Лишь спустя сорок лет со дня гибели прославленного полководца, когда журнал «Огонек» перепечатал из старой рязанской газеты статью чапаевца, удалось выяснить, кто автор. Им оказался Тимофей Семенович Зуйков, бывший связист при штабе дивизии, коммунист, участник Великой Отечественной войны. Умер он в Рязани в 1953 году.

В семье его до сих пор хранятся ручные часы. Стрелки часов неизменно показывают 9 часов 10 минут — время, когда погиб начдив.

Когда к Зуйкову, уже старому человеку, повоевавшему на двух войнах, приходили друзья, он показывал им эти часы, подаренные ему когда-то за храбрость самим Чапаем, и говорил убежденно:

— Жизнь мне спас Василий Иванович. Если бы он поплыл один, то, вероятно, остался бы жив. Но он, наш легендарный начдив, уж такой человек был — ни за что солдата в беде не оставит. Нас этому учил. И сам поступал точно так же!

Но и по сей день старики-чапаевцы продолжают говорить о том, как, переплыв Урал, будто бы выбрался храбрый Чапай на берег. А там его боевой конь поджидал. Свистнул ему Чапай. Конь гривой тряхнул, заржал радостно, подбежал к своему доброму хозяину. На спине у коня седло серебром сияло, а к седлу было привязано все, что надобно командиру в бою: сабля золотая, ружье меткое и бурка с папахой. Накинул Чапай на плечи бурку, черную папаху на голове поправил и в седло сел. Взмахнул Чапай саблей и стрелой полетел на вражеские полчища — только пыль из-под копыт. Порубил он белых всех до единого, саблю в ножны спрятал и сказал трудовому народу: «А теперь новую жизнь стройте, как Ленин велел, как вам самим того хочется!».

А другие старики иное сказывают: когда в Урале вражья пуля Чапая настигла, то успел он будто бы молвить слово прощальное товарищу, который плыл рядом. И просил слово то лично Ленину передать.

Товарищ наказ исполнил. Приехал в Москву и сказал Ленину:

— Командир наш, Чапай удалой, повелел мне в свой смертный час повиниться перед вами, что не уберег он отряд красных от налета казачьего. Погибли верные боевые товарищи.

А Ленин ответил:

— Нет на Чапае вины. Он и его товарищи по-богатырски, до последнего дыхания бились за власть Советов. Они — настоящие герои. А герои никогда не умирают. Чапаевское сердце бьется и впредь будет биться в груди каждого воина его дивизии. И победить таких людей, такую дивизию невозможно!

Может, был, а может, и не был такой разговор — кто знает! Одно точно известно — по этим словам, как Ленин сказал, так все и вышло.

Лучшие чапаевские ученики и соратники стали дивизией командовать. И в груди у них билось смелое сердце Чапая.

Отомстили они врагу за любимого начдива — освободили и Волгу, и Урал, и Сибирь. За Каспийское море прогнали белогвардейских бандитов. А потом дивизия на Украине с иноземцами сражалась. Вышвырнули захватчиков вон из нашей страны, чтобы не мешали они советским людям счастливую жизнь налаживать.

А когда злодей Гитлер наш мирный труд нарушил, пошел войной на Страну Советов, бойцы дивизии сердцем прикрыли Родину.

Отважно бились они и под Белгородом, и под Одессой, и под Севастополем, и под Синельниковом, и под Будапештом, где со славой прошла боевой путь дивизия имени Чапаева. С победой вернулись чапаевцы на Родину. Две новые награды засияли на боевом знамени дивизии — ордена Суворова и Богдана Хмельницкого.

Приходят в армию молодые солдаты, дети и внуки чапаевцев. Встают они под опаленное войной и овеянное славой Красное знамя, клянутся по-чапаевски жить, по-чапаевски служить, по-чапаевски защищать Советскую Родину.

Родина слышит их клятву. И Родина знает — не уронят солдаты славы и доблести легендарной дивизии, потому что в груди каждого из них бьется бессмертное сердце Чапая.

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ



Наш правый фланг ушел
в бессмертие,
С ним неразрывна наша связь —
На грудь Чапаева,
На грудь Маресьева,
На грудь Гагарина равняйсь!

Из комсомольской песни

— Бондина Люба?
— Здесь.
— Меркулов Петр?
— Пал смертью храбрых.
— Редечкин Николай?
— Здесь.

— Сусин Анатолий?

— Пал смертью храбрых...

В классе воцаряется тишина. Слышно, как в руках директора, читавшего список, шелестят пожелтевшие страницы довоенного классного журнала, как скребется веткой дерево, темнеющее за окном, как где-то на околице села всхлипывает гармонь.

...Хмурым июньским утром 1941 года оставили они, десятиклассники, стены родной школы, так и не успев попрощаться с ней, провести традиционный выпускной вечер.

Ушли воевать, защищать Родину.

Вместе с ними отправились тогда на фронт и их наставники, классные руководители: учитель литературы — строгий, степенный Игорь Петрович Варфоломеев и молодой математик, красавец мужчина, любимец класса, Михаил Михайлович Демин. Варфоломеев, как и многие его воспитанники, не вернулся с поля сражения. А любимый математик вновь переступил порог сельской школы лишь в самый канун победы — с обожженным лицом, на котором потом еще очень долго не могли зарубцеваться раны. Где-то под Краковом фашисты подожгли его танк, и из всего экипажа только одному Демину удалось спастись.

И вот они, учителя и ученики, вновь вместе, в своем классе, где в три ряда вытянулись новенькие, недавно покрашенные парты, где на столе лежат пышные букеты пионов, принесенные в школу учительницей Валентиной Григорьевной.

Поредели ряды выпускников. Многих нет на поверке. Но те, кто выжил, кто сейчас присутствует на этой встрече, помнят своих друзей и хотят, чтобы новое поколение, вступающее в жизнь, знало о них, равнялось на них, училось на их примере.

И долго не смолкают взволнованные рассказы о замечательных парнях и девчатах, которыми по праву может гордиться школа, Родина. Сердечно говорят о них и учитель Михаил Михайлович, и их одноклассники — бывший фронтовик Петр Фирсов, приехавший издалека, из поселка Петров Вал Волгоградской области, и Николай Редечкин, ныне секретарь райкома партии в Саратове, и Павел Шелухин, ставший недавно директором той самой школы, в которой учился, откуда ушел на фронт.

С опозданием на много-много лет прозвенел прощальный школьный звонок, собрав их на этот выпускной ве-

чер. Каждый занимает за партой свое прежнее место. Рядом с серьезным Николаем Редечкиным усаживается бойкая Маруся Климова, ныне счетовод колхоза «Чапаевец». За ее плечами фронтовые дороги, большая трудовая жизнь. Она по-прежнему не может усидеть на месте. Выбегает к столу и, обращаясь к своей подруге Любе Бондиной, важным тоном, который удивительно напоминает голос бывшего учителя литературы, произносит:

— Бондина, к доске! Какой вам билет достался? Почему плохо отвечаете?

— Некогда было зубрить. Пироги пекла к нашему вечеру...

Люба Бондина смеется. Эту мечтательную тихоню, которая обычно скромно отсиживалась где-нибудь в уголке и редко смеялась, теперь не узнать. Возмужала, пополнела, стала энергичнее. И совсем седая. Четыре года она проработала председателем колхоза, а теперь учит сельских ребят водить тракторы и комбайны.

— Знаете что, друзья,— поднимает руку Павел Шелухин,— пусть каждый из нас вспомнит самое интересное из своего детства, вспомнит человека, которому он больше всего обязан в жизни...

Оглядываясь на прожитые годы, каждый рассказывает о заветном. И первое слово благодарности, конечно, учителям, которые щедро наделили их знаниями и трудолюбием.

В тот вечер выпускники долго бродили по коридору родной школы, заглядывали в опустевшие классы, в физкультурный зал и теплицу, которых в их бытность еще не было, знакомились с Ленинской комнатой, где старательными руками учеников выстроены шалаш — точная копия того, в котором жил в Разливе Владимир Ильич, и макет дома, где Ленин родился.

Потом они возвратились в родной класс и, как в детстве, взялись за руки, встали в круг.

В веселом хороводе закружилась былая юность.

Зазвенел смех. Задорные песни, подгоняя одна другую, вырвались из класса в коридор, на улицу:

А ну-ка, девушки, а ну,
красавицы,
Пускай поет о нас страна!
И громкой песнею пускай
прославятся
Среди героев наши имена.

И вслед за той бойкой девичьей песней — тихая, лирическая:

> В далекий край товарищ улетает.
> За ним родные ветры вслед летят...

Но и ее не дотягивают до конца. Мужской хор заглушает песню лихим припевом: «Три танкиста, три веселых друга — экипаж машины боевой...»

Знакомые довоенные песни: в них — дыхание давнего времени, горячий пульс молодости, опаленной войной...

На другой день уезжали. Каждого звали неотложные дела и заботы. Но встреча с родной школой не может пройти бесследно. Каждый не раз воскресит в памяти неповторимые минуты, которые он провел там, в классе, с давними своими друзьями и однокашниками.

НАСЛЕДСТВО, ПОЛУЧЕННОЕ ОТ ОТЦОВ И ДЕДОВ

Я встречал рассвет за околицей села. Степь, просыпаясь, сбрасывала со своей груди легкую пелену тумана. А где-то высоко в небесах звенел жаворонок.

Слушая жаворонка, я думал о героической перекличке поколений, о ребятах, которые в сорок первом прямо со школьной скамьи ушли бить фашистов и не вернулись в родное село, думал о давней истории Сулака, о прославленных его героях, солдатах революции и Великой Отечественной войны, передавших в наследство внукам и сыновьям боевую отвагу, любовь к отчему краю. И мне вспоминались слова, которые написала в школьном сочинении сулакская десятиклассница Валя Бабанова: «Герои живут рядом с нами — вот здесь, в нашем обыкновенном и в то же время необыкновенном селе, на берегу тихой речки. Герои живут в каждом деле, которое творит человек».

...Куда бы ни забрасывала человека судьба, он никогда не забудет места, где впервые вдохнул в себя пряные запахи земли, увидел голубой шатер неба над головой, не сможет забыть, как, засыпая, долго слушал пенье лягушек на реке, как хлопали крыльми по утрам крикливые петухи, а жаворонок посылал откуда-то из поднебесья свои нежные позывные.

Люди старательно украшали землю, и она щедро одаривала крестьянина золотом хлебов, знойной пахучестью дынь. Но не всегда земля была так добра и справедлива к человеку — случалось, она, опалив свою грудь суховеем, делалась черствой и жестокой, лишая людей самого насущного. Со своей поднебесной выси жаворонок, наверное, различал эти земные перемены, но всегда в дни радостей и тревог — из года в год, звенел над просыпающейся степью его торжествующий гимн жизни, солнцу, весне.

— Жаворонка заслушался. Занятная, скажу тебе, птаха,— услышал я за спиной хрипловатый мужской голос.

Обернулся. На пыльной дороге, рядом со мной, остановилась повозка. В ней сидел, свесив ноги к колесу и вскинув рыжую бороденку к небу, старик в полосатой рубахе. Он из-под ладони смотрел на птицу, купающуюся в небесах. Я сразу признал в кучере своего давнего знакомого деда Егора, вместе с которым когда-то, в дни школьных каникул, возил огурцы с колхозной плантации на склад. Он мало изменился с тех пор — сухопарый, суетливый старик выглядел совсем молодцом. Когда мы, поздоровавшись, обменялись обычными в таких случаях любезностями, дед Егор снова глянул на жаворонка:

— Вот ведь чудо какое, милок, я седьмой десяток разменял, а он, звонкоголосый, каждую весну на этом самом месте меня приветствует. Когда на войну уходил, он мне вот так же пел... Да что ты стоишь тут один-одинешенек? Подсаживайся, составь старику компанию. Конь у меня, правда, не кавалерийский, но в село каждый раз рысью возвращается.

Всю дорогу дед Егор, возбужденный, рассказывал мне о своей боевой юности, о том, как сражался на германском фронте, как в гражданскую войну конником служил под началом Василия Ивановича Чапаева.

— Наш Сулак в ту пору у Чапая в великом почете был,— заключил он, взглянув на меня многозначительно.— За какие такие заслуги, спросишь? А я тебе, милок, так отвечу — за особую революционность! Когда Чапаев в Николаевске — ныне Пугачевом его именуют — красные полки стал сколачивать, то прежде всего за подмогой к сулачам обратился. Наши отважные командиры Иван Плясунков и Илья Топорков — об их храбрости теперь даже в книжках пропечатано — в тот же день со своими отрядами к Чапаю подались. А потом и другие пришли.

Набралась целая дивизия... Неспроста это, милок. Ведь история Сулака с разинских времен начинается. Свободолюбивый, революционный, я тебе скажу, народ у нас подобрался.

Я давно знал, что в нашем селе живут выходцы из разных мест России: на улице имени Плясункова, которую в прошлом называли «горюшей» (до революции крестьяне-погорельцы там горе мыкали), жили в основном рязанцы, а Топорковскую улицу заселяли крестьяне из-под Пензы и Тамбова. А вот как они здесь оказались — не знал. Дед Егор объяснил, что бежали они сюда, на безлюдные берега степной речушки Иргиз, после разгрома войска Степана Разина, боясь царской расправы за помощь, за сочувствие крестьянскому атаману. Наспех сколотили на пустыре маленькие, крытые соломой избенки, самодельной сохой да плугом пробудили к жизни затверделые целинные земли, заставили их родить рожь, овес, просо. Но хорошей жизни так и не узнали. Нагрянули царские наемники, забрали бедняцкий хлеб, ввели непосильный оброк за землю.

Полной чашей испили переселенцы горечь нищеты и унижений. Но не гасла в душе бывших соратников Стеньки Разина вера в освобождение, вера в светлую долю. За свое счастье боролись, как могли, как умели — вилами да камнями встречали за околицей непрошеных царских гостей. Тихая степь оглашалась время от времени шумом сражений, озарялась пламенем пожаров. После каждой такой стычки уводили стражники из села толпы оборванных, голодных крестьян. Путь их лежал в далекую страшную Сибирь...

— Пенье жаворонка тогда заглушалось звоном кандалов,— вздохнул дед Егор.

Миновав сады за околицей, мы выехали на улицу. За десять последних лет — срок вроде не такой уж большой — многое здесь изменилось. Там и тут на месте деревянных построек сияют окнами кирпичные дома, не слышно больше скрипа колодцев — дед Егор сообщил мне, что прошлым летом в селе провели водопровод, а теперь колхоз всерьез подумывает и о газе для крестьянских кухонь. Новая школа. Новый клуб. Новая больница. Новые магазины... Улица помолодела. А вот на заборе я вижу огромный транспарант, свидетельствующий о том, что улице суждено молодеть и впредь: «В пятилетке,— гласят круп-

ные буквы,— силами колхоза в Сулаке будет построена новая средняя школа на 480 мест, новая больница на 45 коек, расширена водопроводная магистраль. Кирпичный завод вдвое увеличит выпуск продукции...»

А в молодом сквере возле клуба, у подножия краснозвездного памятника, пламенеют цветы, ниспадает к траве широкая черная лента со словами: «Участникам гражданской войны от граждан села Сулака». Здесь, под вечной сенью деревьев, покоится прах бойцов революции, тех, кто утверждал в селе Советскую власть.

— Ты, милок, у меня о давних временах допытываешься,— сказал дед Егор.— Только я разве все упомню? Память сдавать стала. Тебе бы в нашенский клуб заглянуть. Сказывали, на днях там музей открыли. Все сулакские заслуги, как есть, отражены...

Я попросил остановить лошадь и, поблагодарив конюха, направился в клуб.

В угловой комнатушке, где прежде помещалась бильярдная, теперь хранился бесценный клад для историка. На столах и стендах, придвинутых к стенке, выставлены пухлые альбомы с записями рассказов сулакских старожилов, фотокопии различных документов, вырезки из старых газет, личные вещи ветеранов Чапаевской дивизии, героев минувшей войны...

Маленькая пожелтевшая фотокарточка. Юное лицо. Пушок над верхней губой. Помятая гимнастерка топорщится во все стороны — она явно не по росту солдата. Светлые умные глаза смотрят сосредоточенно, в упор, словно изучают. Под снимком короткая подпись: «Солдатов Яков Иванович (1888—1919 гг.) Расстрелян белогвардейцами 5 сентября 1919 года в станице Лбищенской».

Каким он был, мой славный земляк Яков Солдатов, расстрелянный в тот же день, когда погиб легендарный Чапаев, в той же самой станице Лбищенской? Каким были его боевые друзья-односельчане Семен Рязанцев, Илья Топорков и Иван Плясунков?

Скупы строки, выведенные под фотокарточками старательной ученической рукой, колонки цифр и фамилий, пестревшие на стендах, таили в себе волнующую историческую хронику села. Хотелось разыскать очевидцев тех бурных событий, обо всем расспросить, обо всем разузнать.

Я ходил по домам, где жили ветераны революции, встречался с соратниками Василия Ивановича Чапаева, участниками былых походов и сражений. Случалось, мы засиживались до глубокой ночи, воскрешая в памяти забытое, и перед моим взором, чередуясь, как кадры кино, вставали картины минувшего, бесконечно дорогого и близкого сердцу. И я с благодарностью думал о мужественных и скромных людях, моих земляках, на долю которых выпала эта великая миссия — творить революцию, обновлять жизнь.

И ДАЛИ СЕЛУ НОВОЕ ИМЯ — «ВТОРОЙ ПЕТРОГРАД»...

— Из всей округи сулакская беднота,— сказал мне при встрече Петр Кузьмич Рязанцев,— первой власть Советов у себя в селе утвердила. И дали селу новое имя — «Второй Петроград», ибо не было в Поволжье селения революционнее нашего. Большие заслуги перед народом имеем. Потому и гордые.

Петра Кузьмича я помню еще по довоенной поре — он долгое время был у нас председателем районного Совета. Теперь он — персональный пенсионер. Он встретил меня во дворе своего дома, сидя в кресле-коляске: вот уже несколько лет Петр Кузьмич не может ходить и передвигается, толкая колесо руками. На нем старенький, защитного цвета френч, оставшийся от тех времен, когда он был руководителем района, и военная фуражка, изрядно порыжевшая под солнцем. Лицо по-крестьянски загорелое, волевое. Говорит, не повышая голоса, спокойно, плавно, словно былину читает:

— Историей вот занялся,— он перебирает на широкой ладони тетрадные листы, густо исписанные карандашом и чернилами.— Описываю все, что пережил на своем веку...

А повидал и испытал он многое. Вместе с Семеном Рязанцевым, первым председателем волостного Совета, попал Петр Кузьмич в крутой водоворот революционных событий, раскулачивал толстосумов, служил в красногвардейских отрядах, бился с белогвардейцами и анархистами, однажды вместе с женой был схвачен бандой атамана Серова и лишь чудом спасся от расстрела, потом поехал в

Оренбург на политкурсы, был организатором Илецкого уездного комитета партии...

— Коммунистом я стал,— рассказывает он,— вскоре после того, как петроградская «Аврора» капиталистов с престола шуганула. Семен Рязанцев вывел меня на путь революции. Редкостной души был человек. Настоящий рыцарь революции. Его жизнь покруче моей замешена. Биография — что надо! Он в Сулак перед самой революцией из тюрьмы возвратился. Худущий, как скелет. Лицо вытянулось, щеки впали, шея бинтом обмотана. Чахотка его вконец замучила. Кровью харкал — и двух лет после Октября не прожил. Зато сделать успел многое. Труднейшие заботы на свои плечи взваливал.

Откуда только силы брались у Семена, не понимаю. Правда, в молодости он отличался отменным здоровьем. Гвардейского сложения, красивый был мужчина — статный, видный. Водки не употреблял, не курил, зато книги любил. По ночам читал при лучине — днем-то и минуты свободной не оставалось. У Рязанцевых семья была большая, двенадцать душ, все они с малых лет батрачили на помещика Липатова. Бедно жили. Мать овдовела очень рано и, чтобы прокормить семью, тайком от голодной оравы частенько уходила в ближайшие деревни, подаяние собирала. На Семене в основном хозяйство держалось. В работе горяч был. Начнет сено метать — залюбуешься его сноровкой, неутомимостью. Когда в 1906 году армейская комиссия Семеново здоровье проверяла, то определила в военную школу, хотя батраков туда не очень-то жаловали. В армии близко сошелся с подпольщиками, вступил в большевистскую партию. Тайком от офицеров посещал революционный кружок, выполнял партийные поручения, листовки читал солдатам. Как-то ночью в квартиру, где проходило тайное собрание, нагрянули жандармы. Всех арестовали, бросили в варшавскую тюрьму. Еще до суда, на предварительном следствии, стало известно: шестерых, в том числе и Семена, ждет высшая мера наказания — расстрел, остальных — пожизненная каторга. Товарищи, оставшиеся на свободе, задумали подкупить царского судью, жадного до денег. Организовали сбор средств. Судья запросил по 200 рублей за каждого арестованного. Когда же нужную сумму ему вручили, то блюститель царских законов потребовал увеличить плату, так как дело принимало серьезный оборот и спасти заговорщиков от

расстрела было рискованно. И тогда в Сулак пришло письмо. Спрашивали родственников Семена Рязанцева: не могут ли они чем-нибудь помочь? Пришлось продать последнюю коровенку, попросить у помещика жалование в долг. Сельская беднота, друзья Семена, тоже свою лепту внесли. Собранные деньги тут же отправили в Варшаву. Судья, получив изрядный куш, сделал все, что мог — военно-полевой суд, продолжавшийся более двух суток, смягчил меру наказания. А спустя два года Семен вновь объявился в Сулаке. Каторга не сломила воли большевика. Из революционно настроенных крестьян сколачивает он в селе тайный кружок. В него вошли Яков Максимов, Костя Грибаков, Василий Ямщиков, Сашка Орлов, который в то время так же, как и Семен, имел на руках «волчий билет».

Собирались они обычно в глухих зарослях Круглого леса. Проводили маевки, читали запретную литературу, готовились к предстоящим боям с самодержавием. Жандармы не спускали глаз с Семена Рязанцева, вели за ним негласный надзор. Иногда средь ночи без стука в дверь врывались они, звоном шпор пугая детей, в избу. Ворошили постель. Рылись в сундуке. Ломали половицы, искали большевистские листовки. Но Семена Рязанцева, прошедшего большую школу конспиративной работы, было трудно провести. Жандармам так и не удалось напасть на след подполья. Арестовали Семена несколько позже, уже на германском фронте, где он по заданию большевиков вел революционную агитацию в ротах. И снова — царский суд, допросы и пытки, одиночная камера, тюремный паек. Когда, перед самой революцией, мы встретили Семена в Сулаке, то не узнали его — отощал крепко, лицом поблек. Все соки из него проклятая тюремная жизнь выжала. И лишь черные глаза смотрели с прежней неунывающей веселостью. Как угольки светились. Ну, а какое время тогда в селе шумело — сам понимаешь. Огневое, переломное время. Разве мог Семен Рязанцев спокойно усидеть на месте? Не из той породы был, чтобы о собственном здоровье думать. Оттого и сгорел рано.

Петр Кузьмич вынимал из пачки папиросу за папиросой и, глубоко затягиваясь, на минуту смолкал, в задумчивости устремлял взгляд куда-то в сторону, мимо меня, словно хотел еще раз представить лица людей, вместе с которыми прошла его суровая юность. Затем, с трудом сдерживая волнение, продолжал свой рассказ о революции,

которая вихрем ворвалась, всколыхнув крестьян, в старое степное селение.

Рушился привычный уклад жизни, и далеко не все крестьяне тогда понимали что к чему. Мутили воду эсеры, сбивали народ с толку своими речами и посулами. Кулаки чинили провокацию за провокацией, пускали в ход страшные слухи, стреляли из-за угла в большевиков. Земская управа ни за что не желала лишаться своих прав, признавать революционные законы. Яков Солдатов вместе со своими друзьми Яковом Карповым и Михаилом Тимофеевым, вернувшимися с фронта коммунистами, повели активную работу за создание в селе ячейки Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Они выступали на крестьянских митингах, разъясняя бедноте сущность Советской власти, разоблачали происки эсеров, уводя из-под их влияния крестьян, вступали в схватки со злобствующим кулачеством. Влияние большевиков росло с каждым днем. В конце 1917 года около ста крестьян — главным образом беднота — вступило в ряды РСДРП(б).

Теперь предстояло установить Советскую власть в селе. Большевистская ячейка объявила о созыве общего собрания граждан Сулака и поручила Семену Рязанцеву выступить с докладом о передаче всей власти Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Эсеры и кулаки задумали сорвать собрание. «Только попытайтесь, мы вам такую варфоломеевскую ночь устроим,— угрожал большевикам богач Мирошкин,— век будете помнить».

Перед тем как отправиться на общий сход, Семен наказал Петру Рязанцеву, с которым в ту пору они жили вместе:

— Сиди дома, Петро, никуда не отлучайся. Я пойду без оружия, а ты на всякий случай возьми мой наган, приготовь «лимонки». Если кулаки на собрании за оружие схватятся, пришлю к тебе гонца. Ты наган — в карман, «лимонки» — за пазуху и галопом в волостное правление. Вместе будем отстаивать Советскую власть.

Ждать пришлось недолго. Через несколько минут прискакал на взмыленном коне парнишка-посыльный, крикнул в окно:

— Семен тебя кличет... Целая буча заваривается! Садись на лошадь и скачи!

Возле высокого кирпичного здания волостного правления — шум, гвалт, ругань. Оказывается, эсеры и кулаки захватили дом и не пускают туда бедняков, пришедших на собрание. Лишь с помощью винтовок некоторым из них удалось протиснуться в помещение. Петр — за ними. Встал у председательского стола.

— По левую руку от меня, запомни, земские прихвостни,— шепнул ему на ухо Семен Рязанцев.— Наблюдай за ними в оба. Чуть что — хватай гранату. Я сейчас речь буду держать.

Из кулацких рядов сыпались злобные реплики:

— Тоже оратор нашелся...

— Бей большевистское отродье!

Семен был невозмутим. Застегнул верхнюю пуговицу на своей белой сатиновой косоворотке, одернул пиджак и, не обращая внимания на выкрики, спокойно, как всегда, заговорил о той свободе, которую принес трудовому народу Октябрь, о декретах Советской власти, о новых правах крестьянина, которому отныне не придется гнуть спину на кулаков да помещиков...

— Если безграмотным голодранцам власть дать, они вконец Россию разорят,— выкрикнул Андрей Горячев, стоявший впереди левого крыла и, перегнувшись через барьер, ухватил оратора за фалду пиджака, завопил что было мочи: — Тащи Рязанцева с трибуны!

Петр вскинул наган:

— Не лезь! Пристрелю, как собаку!

Горячев убрал руки, отпрянул назад. А за его спиной с дикой бранью обрушился на докладчика кулак Тимонин. Толпа загудела, задвигалась, навалилась на барьер с такой силой, что он покачнулся. Петр достал гранату из-под рубахи, поднял ее над головой.

— Не надо. Не видишь разве,— сдержал его Семен и кивнул направо, где Костя Грибаков, Яков Карпов и другие крестьяне, скучившись, стали нажимать на кулацкие ряды, оттесняя их от трибуны.— Земство теперь бессильно — кончилось его время!

Вся беднота и многие середняки проголосовали в тот вечер за организацию Советов в Сулаке. Председателем они избрали Семена Кузьмича Рязанцева. Глава земской управы, плюнув от досады, бросил ему на стол круглую земскую печать.

А на другой день исполком Сулакского волостного Совета издал первое распоряжение — обезоружить эсеров и кулаков, объявить запись крестьян в добровольческий красный отряд по борьбе с контрреволюцией.

Обыск было решено провести ночью. Красногвардейский отряд, куда вошли все сулакские большевики, вооружился охотничьими ружьями, наганами и несколькими винтовками, привезенными в село фронтовиками.

— Я с вами! — попросился Петр.

— У тебя же оружия нет,— ответил Семен Рязанцев.— На опасное дело идем.

— Ты мне, как тогда, дай свой наган. Уж будь уверен — не промахнусь!

— Беспартийным оружия не выдаем — оно у нас на строгом учете.

— Какой же я беспартийный? Я же всегда с вами.

— Ну хорошо! Раз так — пиши заявление.

Так Петр стал членом партии большевиков, и ему выдали винтовку.

Обыск, произведенный у кулаков и эсеров, сорвал заговор контрреволюционеров, хотевших задушить в селе Советскую власть. Большевистский отряд пополнился оружием: было конфисковано двадцать винтовок, пятнадцать пистолетов, несколько сабель, гранат, много патронов. У Петра теперь оказалась не только винтовка. Во время обыска он обнаружил маузер под подушкой у сына волостного старшины, и Семен Рязанцев разрешил ему взять оружие в личное пользование.

ПО СИГНАЛУ ТРЕВОГИ

Советы стали полноправными хозяевами в Сулаке. Но из соседних деревень поступали тревожные сигналы — кулачество, создав вооруженные дружины, жестоко расправлялось с непокорной беднотой, подбивало население к восстанию. В Малом Перекопном, Сухом Отроге, Криволучье вспыхнули мятежи. Волостной Совет, куда обратились за помощью крестьяне, бежавшие от белогвардейского произвола, направил в село революционные отряды. Они подавили сопротивление кулачества. И когда Советская власть была там восстановлена, пришло новое сообщение — в Березове мятежники арестовали сулакского

коммуниста Илью Топоркова, посланного с двенадцатью бойцами на помощь местной бедноте. Рассказывали, что на собрании, где проходили выборы в Совет, три белогвардейских офицера, неизвестно откуда появившиеся в селе, набросились на нашего командира, избили его, бросили в подземелье. Кулаки торжествовали победу. Зверски измываясь над Топорковым, они решили прикончить его.

Семен Рязанцев по тревоге поднял в ружье красногвардейский отряд. Был отдан приказ — освободить товарища из плена, подавить кулацкий мятеж. К отряду, который морозной ночью выступил из Сулака, присоединилась группа вооруженных крестьян из соседнего села Малое Перекопное. А из Николаевска на выручку Топоркову спешили кавалеристы, которыми командовал Василий Иванович Чапаев.

Переговоры с мятежниками не дали никаких результатов — белогвардейцы наотрез отказались складывать оружие. На рассвете, после того как из боевого задания вернулась разведка, красногвардейские цепи поднялись в атаку. Громовое «ура!» неслось со всех сторон Березова. Мятежники не ожидали такого стремительного натиска и в панике разбежались, не успев расстрелять Топоркова.

Революционный порядок в селе был восстановлен.

И чапаевцы двинулись дальше — в Балаково, где накануне кулацко-эсеровская банда, возглавляемая офицерами Растяпиным и Ивановым, разгромила Совет и захватила центр города. Был тяжело ранен и взят в плен военный комиссар Григорий Чапаев, брат Василия Ивановича. Рабочие и коммунисты, укрывшиеся в мастерских на городской окраине, продолжали отстреливаться, прикрывая оружейным огнем подступы к Балаково. На подмогу им из Сулака уже двигался перекопновский конный отряд во главе с лихим командиром Алексеем Карповичем Рязанцевым. Чапаевские кавалеристы встретили этот отряд близ города, и 13 февраля оба отряда перешли в наступление. Балаковские рабочие влились в ряды атакующих. Удар на белых обрушился сразу с двух сторон — с восточной и южной. Это вызвало замешательство во вражеском стане — мятежники не могли понять: с какой стороны идут главные силы чапаевцев. Попытка перейти в контрнаступление не принесла удачи. Перекрестный огонь пулеметов прижал неприятеля к земле. Красногвар-

дейцы действовали по заранее разработанному плану, решительно и умело, не давая врагу передышки.

В тот же день город был освобожден. Но брата Чапаев уже не застал в живых — белогвардейцы зверски замучили его.

Через день население Балакова с большими почестями провожало в последний путь верного крестьянского сына, пламенного большевика Григория Ивановича Чапаева. Над гробом его красные бойцы поклялись отомстить врагу, довести дело революции до победного конца.

В этой клятве был слышен и уверенный голос сулакских красногвардейцев, которые, сражаясь бок о бок с Николаевским полком, кровью скрепили боевую дружбу с чапаевцами.

И когда красные конники с победой вернулись в родное село, Семен Кузьмич Рязанцев приветствовал их:

— Молодцы! Не уронили славы нашего Сулака, славы «сельского Петрограда».

Василий Иванович Чапаев впервые побывал в Сулаке в феврале 1918 года. Зима тогда стояла суровая, вьюжная. Позамело дороги, и разыскать село, затерявшееся в степи, было не так-то просто. До Сулака чапаевские конники добрались лишь к вечеру.

— Где тут Семен Рязанцев проживает? — придерживая коня, спросил у встречного Василий Иванович. Председателя волостного Совета он знал хорошо, не раз встречался с ним на заседаниях в уездном Совнаркоме.

Прохожий указал, и Чапаев, приказав бойцам следовать за ним, повернул вороного к приземистому бревенчатому домику на краю улицы.

Весть о прибытии Чапаева облетела все село. Обрадовались сулачи. Они любили отважного командира Николаевского революционного полка, гордились тем, что Чапаев дружит с вожаками сулакских большевиков Семеном Рязанцевым и Ильей Топорковым. В своих выступлениях на уездных конференциях Василий Иванович не раз с похвалой отзывался о действиях красных партизан Сулака, ставших главной боевой опорой не только крестьян волости, но и всего уезда.

Вечером в дом Семена Рязанцева повалил народ. Собрались коммунисты, активисты Совета, сельская беднота. Завязалась беседа. Говорили о помещичьей земле, кото-

рая должна отойти крестьянам, вспоминали отдельные эпизоды недавнего сражения с кулаками в Балакове и Березове, где оба отряда — чапаевский и сулакский — действовали в общем строю, размышляли о предстоящих боях и походах...

— Советскую власть,— говорил Чапаев,— никаким кулакам не одолеть: она как камень, как скала... По всей России бушует революция. И наш Николаевск, и наш Сулак — лишь капли в море революции. Нам ее по всей земле разжигать. Враг, слышал, под Уральском снова голову поднимает, готовит новые каверзы. Сокрушать его будем общими силами. Врага победить — всем заодно быть. Так что будьте начеку!

— За нами дело не станет, Василий Иванович. Добровольцы у нас хоть куда,— ответил Семен Рязанцев.— По первому зову партии сулачи готовы бить белую контру в любой части земного шара. Только вот с оружьицем плоховато, да в патронах большая нужда. С охотничьими ружьями тоже лишь за зайцами гоняться...

Пока взрослые вели разговор, возле Чапаева шушукались две худенькие черноглазые девчушки. Они гладили лежавшую на столе каракулевую папаху с красным верхом, разглядывали боевое снаряжение командира. Чего только не было на нем: и новенькая хрустящая портупея, перекинутая через плечо, и полевой планшет на коленях, и бинокль на груди, и кобура на боку, и огромная сабля в ножнах, упирающихся своим концом в половицу. Все это у детей вызывало нескрываемый восторг. Девочка, что была поменьше, залюбовалась красивыми, лихо подкрученными командирскими усами. Со стороны усы выглядели совершенно черными, вблизи же оказались русыми, с легким рыжеватым отливом. Владелец замечательных усов вдруг нарочито грозно сдвинул густые брови, подхватил малышку за бока, подбросил вверх и суровым голосом спросил:

— Чей это отважный пostreленок?

— Это меньшуха моя. Маша-растеряша,— сказал Семен Рязанцев.— Сорвиголова! А рядом сестренка ее, Дуся, ей двенадцатый пошел. В школу бы надо...

Чапаев усадил девочек на колени, нежно взглянул на них:

— Раз есть Советская власть, значит, будет и школа!

Шустроглазая смена у нас подрастает. Веселую жизнь мы для них на земле устроим! — и, вспомнив прерванный разговор, озабоченно добавил: — Ты, прав, Семен Кузьмич, без оружия и смелый солдат не вояка. Но на то и вооруженная контра существует, чтобы наши боеприпасы пополнять... Оружие в боях добывать надо.

Чапаева и его кавалеристов село провожало рано утром. Они спешили в Николаевский уездный комитет партии, где их ждало новое боевое задание.

В ГУБКОМ ЗА ОРУЖИЕМ

Сулакские коммунисты решили во что бы то ни стало раздобыть оружие для новых отрядов. Винтовок, отобранных у местного кулачества, не хватило и половине добровольцев. Следовало командировать за оружием в губком партии своего доверенного. В то время в Самару на крестьянский съезд отправлялся делегатом от волости Анисим Васильевич Земзелев, мужик дотошный и пробивной. Ему-то и дали это важное поручение. Попутно попросили заказать в городе штамп и печать для волисполкома и сельсовета: несподручно было ставить на важных революционных документах старую земскую печать.

Земзелев и не предполагал, сколько мук предстоит испытать ему, чтобы выполнить задание. Подвела печать. Когда начальник самарского склада, где хранилось оружие, разглядел на печати в доверенности царский герб, то неумолимо отрезал:

— Ни винтовок, ни пулеметов, ни патронов я тебе не дам. Кто тебя знает? Может, ты не наш, может, тебя контра подослала? А я — отвечай! Вот если бы у тебя была советская печать, тогда иной разговор. А так лучше и не проси...

Ждать, когда изготовят новую печать, Земзелев не стал — заказ обещали выполнить лишь через неделю-две. Он не располагал таким временем. Но не возвращаться же в Сулак с пустыми руками! И он пустился на хитрость: с той же доверенностью поехал в Иващенково, что поблизости от Самары, и стал просить у местных властей оказать содействие сулачам. К печати особых придирок не было, но в оружии ему отказали.

— Нам самим винтовки позарез нужны,— объяснил председатель волисполкома и показал телеграфную ленту.— Вот полюбуйся, телеграмма из Самары.

Земзелев прочел: «В Иващенково идет поезд с белогвардейцами. Задержите». Понял — настаивать бесполезно!

Состав подходил к станции, защелкали выстрелы. Больше часа продолжалась перестрелка. Земзелев ни на шаг не отставал от иващенковцев, лез в самое пекло сражения, без промаха разил белогвардейцев.

После боя, завершившегося полным разгромом банды, председатель волостного комитета по-дружески пожал Земзелеву руку и сказал:

— Забирай часть трофеев. Это тебе за храбрость.

В Сулак Анисим Васильевич привез богатый «улов» — 250 винтовок, два пулемета марки «кольт», несколько ящиков с патронами, пулеметными лентами и гранатами.

Оружие подоспело очень кстати. В первых числах марта из Николаевска в Сулак прибыл представитель уездного комитета партии и сообщил, что белоказаки уничтожили под Илецком самарский отряд красной гвардии и разогнали Уральский областной Совет, бросили в тюрьмы коммунистов. Саратовский Совет, которому было поручено формирование отрядов для борьбы с повстанцами, направил белогвардейскому правительству ультиматум с требованиями:

1) безоговорочно признать Совет Народных Комиссаров как верховную власть Российской Советской Федеративной Социалистической Республики;

2) немедленно восстановить разогнанный и частью арестованный Уральский Совет;

3) изгнать пришлый элемент из Уральской области, как-то: контрреволюционное офицерство, буржуазию и помещиков.

Белоказаки отклонили ультиматум. Они готовили свое «христово воинство» к большому походу на Москву. Карательные банды мятежников разъезжали по уральским городам и селам, винтовкой и плетью загоняли непокорных крестьян в свою армию. Кулаки помогали контрреволюционному правительству хлебом и фуражом, создавали черносотенные отряды, во главе которых стояли опытные офицеры. Попы уже служили панихиды по Советской

власти и сулили божий рай всем, кто отправит на тот свет хотя б одного большевика.

Над молодой Республикой Советов нависла новая грозная опасность. Саратовский Совет Народных Комиссаров объявил запись добровольцев в Красную Гвардию.

ПОДРУЧНЫЕ

В особую армию для борьбы с белым уральским казачеством сулачи одними из первых направили около четырехсот своих лучших сынов. Прошло всего несколько дней, и в Николаевск, где сосредоточивались вооруженные силы уезда, из села прибыл новый добровольческий отряд — двести человек.

Из сулакских красногвардейцев и был в основном сформирован Первый чапаевский полк. Командиром полка избрали Илью Васильевича Топоркова, а в помощники к нему определили Ивана Плясункова, тоже сулакского жителя, крестьянина-бедняка.

— Подручные у меня что надо! — с гордостью говорил Василий Иванович Чапаев.— Правая рука — Топорков, левая — Плясунков. С такими не пропадешь!

Топорков, бывший батрак, прошел большую школу боевой выучки. Еще на германском фронте он удивлял своих однополчан беспримерной отвагой, за что был произведен в чин унтер-офицера. С первых же дней революции Топорков, ставший к тому времени коммунистом, выступает в Сулакской волости организатором революционных крестьянских отрядов, обучает бедняков военному делу, руководит боевыми операциями по разгрому кулацко-эсеровских банд. Одно его имя наводило страх на врага. Крестьянская беднота всегда шла за Топорковым, охотно записывалась в отряд этого смелого и душевного командира, готового в любую минуту пожертвовать своей жизнью за власть Советов.

Красный командир на деле доказал свою преданность народу. Поставленный во главе красногвардейского чапаевского полка, он первым принял на себя удар белоказачьих войск на подступах к станции Семиглавый Мар. Сюда уральское «войсковое правительство» стянуло несметные офицерские дружины и белоказачьи полки. Враг, чувствуя свою силу, держался уверенно и разработал план

молниеносного разгрома чапаевских войск, рассчитывая заманить их в ловушку. Топорковский полк двигался к станции вдоль железной дороги. Прячась в оврагах и кустарнике, казачьи разъезды беспрепятственно пропускали красноармейцев вперед, чтобы затем обрушить оружейный огонь им в спину, сомкнуть кольцо окружения. Но красные командиры разгадали маневр неприятеля. Срочно был изменен порядок движения войск. Часть топорковского отряда свернула влево от железнодорожного полотна и укрылась в горах, которые возвышались вокруг Семиглавого Мара.

Белоказаки были убеждены, что противник пробирается к станции прежним путем и, заранее торжествуя победу, сосредоточили здесь все свои ударные силы. А красные отряды тем временем бесшумно спустились с гор и атаковали врага с тыла, где он их совсем не ожидал.

Теперь окружение грозило вовсе не чапаевцам, а белоказакам. Белоказаки, собрав остатки своих войск, спешно оставили Семиглавый Мар, откатились к станции Шипово. Там получили подкрепление и вечером снова ринулись в атаку. Красноармейский отряд, руководимый Топорковым, метким огнем из винтовок и пулеметов заставил врага отступить. Но бой не прекращался до поздней ночи. В свинцовом шквале пуль захлебывалась одна атака за другой.

Однажды врагу удалось прорвать красноармейскую цепь, и группа бойцов вместе со своим командиром оказалась в окружении. Они решили умереть, но не сдаться. Топорков, отстреливаясь до последнего патрона, личным примером воодушевлял своих товарищей и несколько раз пытался разорвать вражеское кольцо, спасти отряд. Но тщетно — силы неприятеля значительно превосходили. Казалось, нет никакого спасения. И вдруг Топорков почувствовал, как дрогнула казачья цепь. На выручку отряду мчались красные бойцы. Впереди наступающих Топорков увидел Чапаева...

Случилось так, что Илье Топоркову дважды довелось стоять на краю неминуемой гибели — в Березове, когда кулачье приговорило его к смертной казни и белый офицер, тренируясь, уже приставлял к его виску пистолет, и вот теперь, на уральском фронте,— и оба раза он оставался в живых только потому, что рядом был Чапаев.

— При таком командире, как ты, Василий Иванович,— шутливо говорил Топорков,— мне никакая смерть, никакая пуля не страшна.

Но вражья пуля все же настигла отважного красного командира. В июне 1918 года, во время второго похода на Уральск, он был ранен в бою. Чапаев срочно отправил друга в тыловой госпиталь, но рана оказалась смертельной.

Василий Иванович глубоко переживал гибель своего верного боевого соратника и до конца дней своих вспоминал о нем.

— Храбрейший был командир. Таких и у нас — поискать...

Командование полком имени Пугачева принял Иван Михайлович Плясунков, земляк Топоркова. Их связывала давняя бескорыстная дружба: вместе мерзли в окопах империалистической войны, вместе, вернувшись с фронта, утверждали в селах Советскую власть, громили контрреволюционеров, кулаков, эсеров, вместе пришли в чапаевскую бригаду, приведя с собой проверенные в схватках с местной буржуазией крестьянские революционные отряды.

В отличие от своего уравновешенного друга Иван Плясунков, который очень рано осиротел и воспитывался у чужих людей, был человеком горячим, ершистым, непримиримым. Различие характеров не мешало, однако, их дружбе, она была неизменной. Друзья были схожи в главном — в своей преданности партии, верности идеям революции.

Чапаев доверял Плясункову бесконечно, так же, как и Топоркову. Он любил его за храбрость и крестьянскую смекалку, за умение находить верный выход из любых, даже, казалось бы, самых безвыходных ситуаций.

Плечом к плечу с Василием Ивановичем Чапаевым прошел Иван Плясунков долгий и тяжелый боевой путь — от берегов Волги до Урала. И полк, носивший имя Емельяна Пугачева, никогда не подводил своего командира: первым ворвался в город Николаевск, захваченный белочехами, громил «учредиловскую» армию под Орловкой, обратив врага в паническое бегство, дерзким броском освобождал Самару, за что в награду от Чапаева Плясунков получил именные золотые часы и серебряную саблю. С тяжелыми боями дошел до Уральска, принеся городу

избавление от белоказачьих войск, покрыв неувядаемой славой имена сотен красных бойцов, и в том числе имя своего командира — за личную храбрость и за умелое руководство боем он был награжден орденом Красного Знамени. Вскоре к этой награде добавилась еще одна — второй такой же орден... Погиб Иван Плясунков 2 апреля 1921 года близ станции Ртищево в кровавой схватке с белогвардейской бандой. Но и мертвый он был страшен для врага — бандиты исполосовали его труп нагайками...

Разгромив белогвардейские банды, лихие чапаевцы возвратились к мирному крестьянскому труду. Они продолжили великое дело революции, активно перестраивая деревню на новый социалистический лад. Тогда-то и родилась первая сельскохозяйственная коммуна «Отрада». Производственной базой для нее послужило бывшее имение помещика Мальцева. Потом в селе возникло сразу несколько товариществ по совместной обработке земли: «Заря», «Ласточка», «Новь», «Спартак», «Луч социализма». Крестьяне на практике убедились в выгодности сельскохозяйственных объединений. И когда партия обратилась к народу с призывом о сплошной коллективизации крестьянских хозяйств, они создали в селе колхоз. Председателем избрали бывшего красного партизана коммуниста Илью Федоровича Никулина. Злобствовали кулаки, противясь зарождению в селе новой жизни. Но они были бессильны. Колхоз «Чапаевец» крепко вставал на ноги, шел в гору.

Всем памятна весна 1930 года, когда крестьяне, а вместе с ними и приехавшие из Питера кадровые рабочие-двадцатипятитысячники после митинга на площади торжественно начинали свой первый колхозный сев. И точно так же, как в огневую годину гражданской войны, сулачи и тут показали пример революционной организованности — первыми в районе закончили сев.

Тогда на полях работало лишь два трактора заграничной марки «Фордзон». А через каких-нибудь два-три года местные трактористы «оседлали» стальных коней, присланных в Сулак тракторостроителями Сталинграда и Челябинска.

— Нынче трактором никого не удивишь, их у нас в колхозе около полусотни,— вспоминая о той далекой поре, говорила мне Евдокия Семеновна Рязанцева, старая коммунистка, дочь первого председателя Сулакского во-

лостного Совета Семена Кузьмича Рязанцева.— А бывало, мы навстречу каждой машине всем селом, как на праздник, со знаменами выходили. Теперь в колхозе одних автомашин штук двадцать, а там еще комбайны, зернопогрузчики, мотоциклы... Вот только самолета нет. Но в войну, я это хорошо помню, наши колхозники — Евдокия Викуловна Желтова и Иван Дмитриевич Фролов — два самолета на свои личные сбережения для фронта купили. И в дни битв, и в дни мира одна забота у нас — чтоб хорошела Родина.

САМОЛЕТ В ПОДАРОК



Напряженно трудясь день и ночь,
Проверяют себя патриоты:
«Чем мы фронту сумели помочь —
Славной Армии нашей и Флоту?».
В нашей грозной священной войне
Нет различья меж фронтом и тылом.
То, что делал ты, делай вдвойне
С неустанным стараньем и пылом.
Сталевар, тракторист, продавец,
Врач и техник, швея и ученый —
Каждый нынче народный боец
Общей армии многомиллионной.

Из песни военных лет

В саратовской газете «Коммунист» был напечатан очерк под названием «Купил колхозник самолет». Читал я его, и далекое военное прошлое вдруг как-то по-новому всколыхнулось в моей памяти.

Герой очерка Иван Дмитриевич Фролов мне хорошо знаком — он из нашего села. Во время войны я, тогда

еще босоногий мальчонка, работал помощником штурвального на комбайне, и с председателем нашего колхоза дядей Ваней — Иваном Дмитриевичем Фроловым — встречался в уборочную страду чуть ли ни каждый день.

Бывалый чапаевец, человек мягкий и отзывчивый, Иван Дмитриевич никогда ни на кого не повышал голоса, относился к колхозникам по справедливости. Особое уважение питал он и к нам, школьникам лихой военной годины. Жалел нас, голодных и оборванных, оберегал от непосильного труда и всем, чем мог, спешил помочь многодетным солдаткам: раньше других выделял им хлеб на заработанные трудодни, разрешал пользоваться колхозной лошадью, когда надо было запасать дрова в лесу или возить сено с луга, строго следил, чтобы никто не посмел обидеть ребятишек, чьи отцы погибли на фронте.

Ясно помню и тот день, когда Иван Дмитриевич на свои средства купил боевой истребитель и передал его прославленному летчику-фронтовику Алексею Катричу. «Товарищ Катрич! — написал он ему на фронт.— Я горжусь тем, что моим самолетом управляете Вы, Герой Советского Союза, гвардии капитан. Этот самолет — мой подарок фронту. Пусть сотни фашистов найдут себе могилу от Ваших ударов».

Справедливости ради необходимо сказать, что Иван Дмитриевич у нас в селе был не единственным человеком, купившим самолет. В этом деле его опередила колхозная телятница Евдокия Викуловна Желтова — она на три дня раньше Фролова заявила о своем намерении приобрести истребитель. А всего колхозниками нашего Чапаевского района было куплено и послано на фронт девять боевых самолетов. На всю страну прославились сулачи!

Мы, школьники, очень гордились своими замечательными земляками. Еще бы не гордиться! Прежде в классе мы писали сочинение о колхознике из соседнего Новопокровского района Ферапонте Петровиче Головатом, внесшим сто тысяч рублей на истребитель для фронта, а теперь вот и у нас в селе Сулаке появились такие люди. Учительница дала нам новое задание — написать сочинение о последователях Головатого. Конечно же, мы все как один написали о наших односельчанах, людях особенно близких и дорогих нам, бескорыстных и щедрых, отдавших фронту все, что они имели.

Признаться, от простой, ничем не выдающейся телятницы Евдокии Викуловны Желтовой — её у нас на селе все величали попросту Викуловной — никто не ожидал такой редкостной щедрости. Немолодая уже женщина, жившая скудно и неприхотливо, она в будни и праздники одевалась в изрядно поношенное, дореволюционного фасона платье, набрасывала на голову старенький платок, до белизны выцветший под степным саратовским солнцем, не носила ни богатых серег, ни бус, ни модных туфель, которыми в урожайный предвоенный год обзавелись многие сельские женщины.

Никто толком не мог понять, как, каким образом рядовая колхозница, прожившая в бедности два военных года, смогла сохранить такие сбережения, которых хватило на покупку целого самолета? Когда же ее спрашивали об этом, она отвечала, хитровато прищурив глаза:

— С неба денежки свалились. Откуда же еще?! На небо же и взлетели, чтобы фашистов бомбить.

Так никто ничего и не узнал.

Много лет спустя после войны, собирая материал для книги о Чапаеве, чапаевцах и чапаятах, я встречался в родном селе с участниками гражданской войны и записывал их воспоминания. Один из чапаевцев, Иван Павлович Петров, неожиданно сказал мне:

— Ты вот все о чапаевцах расспрашиваешь. А ведь есть еще и чапаевки. Викулиху знаешь? Та, что на животноводческой ферме работает — Евдокию Викуловну Желтову? Так вот, она в нашем чапаевском батальоне служила. Меня однажды из-под самой смерти выволокла. Бойка же баба! А язык! Послушаешь — цельную книгу напишешь...

Для меня сообщение то было полнейшей неожиданностью — никто прежде о том, что Евдокия Желтова служила в чапаевской дивизии, мне не говорил. Заинтересовался я. Взял толстую тетрадь для записей и отправился к ней домой.

О многом поведала мне Евдокия Викуловна. Рассказала, как Чапаев «с шашкой на боку» дважды в Сулак приезжал, перед крестьянами «громкую» речь держал; как потом Желтовы в его дивизии «семейственность развели», всем гуртом — муж, отец, брат, два деверя и сама Евдокия — ушли на фронт, оставив на попечении у бабки двух малых детей; как выгоняли они белогвардейцев из

степной русской деревушки Пузанихи; как Василий Иванович лично распорядился «боевую бабу на особое армейское довольствие поставить и взамен осьмушки табака дополнительную порцию пищи выдавать»; как после гибели любимого начдива, спустя несколько лет, народился у Евдокии сын, которого они с мужем надумали наречь необычным именем — Чапай...

— Эх, милой, жизнь прожить — не поле перейти,— вздохнула Евдокия Викуловна.

Постепенно наш разговор переключился с войны гражданской на Великую Отечественную, и Евдокия Викуловна рассказала мне о том, как в 1943 году она покупала самолет в подарок Красной Армии.

Я добросовестно, слово в слово, записал тогда все, что услышал от нее. Тетрадь с записями долгое время лежала в папке, где хранились материалы, не имеющие, как мне казалось, особой ценности. Но вот, знакомясь с очерком об Иване Дмитриевиче Фролове, я вдруг вспомнил о существовании старой тетради, достал ее и начал читать то, что когда-то поведала мне Евдокия Викуловна. Рассказ ее показался мне весьма любопытным, и я перепечатал его, чтобы и другие узнали о патриотическом поступке колхозницы Желтовой, совершенном в годы войны.

«Когда злодей-фашист на нас войной пошел, я так рассудила: «Чапаевке негоже на печи отлеживаться, надобно на фронт подаваться. Пусть знает фашистская рожа, что Советская наша власть народу всего на свете дороже!».

Торкнулась к районному военкому. А он мне:

— Отвоевала ты, Викуловна, своё еще в гражданскую. Теперь уступи дорогу на фронт тем, кто помоложе, а сама куй победу здесь, в тылу. Не только штык солдатский, но и колос колхозный врага колет!

Убедительно растолковал он мне, что в лихую годину фронт и тыл воедино; что боец фронтовой, что боец трудовой — все на линии передовой.

Так вот и осталась я, значит, «ковать» победу на родной ферме. Чтобы побыстрее фашиста в гроб вогнать, поблажек себе в работе не давала, за троих вкалывала. Да разве я одна! Все наши бабы колхозные из последних

сил надрывались, тяжелый военный груз на своих плечах волокли.

За стахановский труд в животноводстве мне почтение оказали — заседателем в народный суд выдвинули. При таком доверии пуще прежнего стала рвение в работе проявлять. Думала, ударным трудом в два счета ненавистного Гитлера в бараний рог скручу.

Да не вышло так скоро-то. Год прошел, за ним — второй, а конца-края войне не видно. Чем же, думаю, еще армии подсобить, чтоб врага поскорей сокрушить?

Прихожу однажды в суд на заседание и вижу — на столе свежая газетка лежит. Вверху, вовсю ширь листа, аршинные буквы лозунга, зовущего начать сбор средств на покупку для армии самолетов, танков, пушек и броневиков. Предлагалось всем, кто денежные сбережения имеет, пожертвовать их на постройку разных боевых машин. Газетка с похвалой отзывалась о колхозниках из-под Тамбова, которые не пожалели денег на танковую колонну «Тамбовский колхозник». Там же добрым словом был помянут и наш земляк-саратовец Ферапонт Головатый, зачинатель движения по внесению личных денег в фонд обороны.

Портрет его в газетке поместили на видном месте. Долго я этот портрет разглядывала. Тут к столу моему Рязанцев, наш судья, подковылял — по причине хромоты его в армию не взяли. Глянул он через мое плечо на газетку, поинтересовался:

— Чего новенького?

— Да вот, говорю, колхозник Ферапонт Головатый самолет купил.

— И сколько дал?

— Сто тысяч,— отвечаю.

Он присвистнул в изумлении:

— Вот это да! У нас в селе вряд ли кто на такое способен.

Я не согласилась с судьей Рязанцевым:

— Напрасно, говорю, ты на односельчан наговариваешь! У нас в Сулаке что ни семья, то непременно в ней либо чапаевец, либо чапаевка. Революционеры. Не отстанут от Головатого. Захотят — и самолет будет! Не для себя живут, народу последнее отдают.

— Легко сказать — самолет! — почесал затылок Рязанцев.— А на какие деньги, скажи мне на милость? Ты

вот сама чапаевка, но ведь этого мало, чтобы самолет купить. Деньги надобны.

Что правда, то правда, денег у меня в ту пору в наличии не было. Но еще с довоенного урожайного года хранила я зерно в амбаре, выданное мне на трудодни. Другие-то наши колхозницы давным-давно все свое заработанное богатство в дело пустили: кто мотоцикл купил, кто патефон с набором пластинок, где Козин с Утесовым душещипательные песни распевают, кто коровой обзавелся, а кто и новый шатровый дом построил. А я тогда не успела. Только собралась — война грянула. Тут уж не до купли-продажи. Решила до победы потерпеть. Как туго ни жилось, а мешки с зерном не развязывала, про заветный день берегла. Вместе со всем народом говела, мысленно гадала наперед: когда фашисту конец придет? Вот тогда, думаю, и обзаведусь всем, что надобно. Но проклятый фашист ни в какую не желал войну прекращать. У меня последнее терпение лопнуло.

— Скажи мне,— спросила я Рязанцева,— если человек самолет покупает, куда он деньги перечисляет? В магазин, в сберкассу али прямо на завод?

— Уж не с Головатым ли задумала состязаться?

— А что? — отвечаю с задоринкой.— Ему можно, а мне нельзя?

В мыслях-то я так прикинула — сто десять центнеров зерна, что колхоз мне выдал, можно за большие деньги продать. Цена на хлеб тогда была высокая. Но хватит ли на самолет? Подсчитала в уме, пока в газетке про Головатого читала, что на самолет вполне хватить должно и коечто даже на пропитание семье останется.

На другой день чуть свет пришла на ферму. Работала, а сама беспрестанно о своем будущем самолете думала. Только вот с чего начать его покупку, не знала. Непривычное дело. Раздумывала, у кого бы спросить?

Напоила телят и, не переодеваясь, прямо с фермы подалась в райком партии за советом. Секретарем партийным у нас тогда был Шиндин Иван Павлович, башковитый и обходительный мужчина. Прихожу к нему. У самой двери сидит начеку помощница его, Евдокия Семеновна. Увидела, в каком я виде, отстранила меня от входа.

— И не смей,— говорит,— в грязной одёвке порог переступать. Тут тебе государственное учреждение, а не

коровник какой-нибудь. Ступай домой. Приведи себя в порядок и приходи.

Я было попятилась к выходу. Но тут дверь открылась. Услышала приветливый голос:

— Айда, заходи, Викуловна! — это товарищ Шиндин Иван Павлович меня так по-свойски окликнул — он до секретарства у нас в колхозе председательствовал.— Рад тебя видеть. Ну-с, сказывай, по какому делу?

Не знала, как и начать.

— Купить, говорю, хочу.

— Чего купить? — не понял он меня.

А я тут и вовсе растерялась. Слова нужного не вспомню.

— Ну, это самое,— говорю,— забыла, как и назвать-то...

— Корову, что ли? — переспросил секретарь.

— Да нет,— говорю,— не корову, а это самое... Ну, то, что по верху летает и бомбы кидает...

— Самолет, значит? — заулыбался догадливый Иван Павлович.— Хорошее дело! Купить можно, были бы денежки.

А я ему:

— Зерно три года хранила, а теперь вот продать решила. Думала, для мирной жизни хлеб сгодится. Но когда еще она, мирная-то жизнь, наступит! Вот куплю для фронта самолет, и, глядишь, с его помощью мы быстрее Гитлера доконаем.

— Что верно, то верно,— улыбнулся секретарь.— Но хватит ли твоих средств на самолет? Это тебе не велосипед. Тут солидная сумма потребуется.

— Хватит, отвечаю, коли, конечно, с зерном на базаре не продешевлю.

— Не продешевишь,— смеется он.— Ты у нас женщина прижимистая.

Стали мы с ним на бумажке подсчитывать, сколько за зерно выручить можно. Выходило — поболее ста тысяч.

— Раз Головатому таких денег на истребитель хватило, то и тебе, значит, хватит,— твердо сказал Иван Павлович.

Стал он по телефону в Саратов звонить, докладывать, что, мол, телятница Желтова задумала для нашей армии самолет приобрести и хочет знать, где и каким образом другие крестьяне самолеты покупают.

Ему оттуда долго что-то объясняли. И чем дольше он трубку возле уха держал, тем веселее у него глаза светились. То и дело кивал он мне улыбчиво. А потом, когда трубку на крюк повесил, и вовсе рассиялся весь. Подошел ко мне поближе, руку пожал, сказал начальственно, с торжеством в голосе:

— Велено тебя, товарищ Желтова, от всего областного руководства поблагодарить за сознательность и патриотизм. Молодец! На всю страну теперь село прогремит. Как в гражданскую, когда наши — все до единого! — к Чапаеву в дивизию подались. Чапаевцами были, чапаевцами и остались... А деньги на истребитель, Викуловна, предложено через Госбанк оформлять. Чтобы выручка от продажи посолиднее была, дам тебе дружеский совет — сперва на Березовскую мельницу зерно свези, обмолоти по всем правилам, а потом, с мукой-то, в Пугачев, на базар. Дороже станет. Сколько подвод потребуется на муку, столько и дадим. Самолично председателю указание дам. Можешь не беспокоиться.

Радостная, словно на крыльях, вылетела я из кабинета. Секретарша мне вдогонку:

— Как в город поедешь, переодеться не забудь. Там народ культурный, засмеют в таком-то наряде.

— Не засмеют, отвечаю, когда узнают, с какой я целью в город пожаловала.

Шесть подвод выделил мне колхоз для поездки в Пугачев, а лошадей пожарники пригнали. У самих-то, поди, ни одной не осталось. Случись пожар — выехать не на чем.

Кладовщик Евгений Федорович Солдатов и шестеро колхозников, посланных мне в провожатые, погрузили мешки на подводы, и мы тронулись в путь. Сперва, как и присоветовал партийный секретарь, заехали в село Березово. Мельник Николай Федорович Рублев, несмотря на поздний час, узнав, на какие цели нам мука надобна, согласился работать сверхурочно.

В Пугачев прибыли, когда уже светать начало. Двинулись в центр, на базарную площадь.

Только к воротам приблизились, хвать — бородатый сторож с ружьем.

— Чего везешь? — спросил грозно.

— Не видишь — мука в подводах,— ответила я ему.— Продам и поеду самолет для фронта покупать.

— Ты что — разыгрывать меня вздумала? — насупился он.— Кому-нибудь другому байки рассказывай, а меня на мякине не проведешь. Стреляный воробей! Я тебя насквозь вижу. Сознавайся, где муку похитила?

— И не похищала я вовсе! С чего взял? Я ее собственным трудом заработала.

— Ха-ха! — засмеялся сторож.— Из грязи да в князи! Башмаки дырявые, кофта заляпанная, а сама на белой муке сидит. Где это видано? По шесть подвод нам даже передовые колхозы ныне не привозят, а ты одна столько захапала. Документы на продажу муки имеются? Вот видишь, нет у тебя разрешения! И быть не может, ибо не на своей муке сидишь. Я с первого взгляда определил. Самая натуральная воровка. Расхитительница, стало быть, государственной собственности.

Не вытерпела я такой страшной несправедливости, пригрозила сторожу:

— Уйди с дороги! Не то кнутом огрею. Ишь чего придумал — «воровка»! Да тебя за такие слова...

Не дал он мне договорить, свисток в рот сунул, засвиристел на весь базар:

— Милиция, ко мне! Воровку споймал!

Вместо милиционера явился на свист красноармеец. Гляжу на него и глазам своим не верю. Мать моя маменька, да это же Кирюшка, сын нашей доярки, ближайшей подружки моей! Статный, красивый, в новеньких с иголочки погонах. Так он в Пугачеве на мое спасение очутился.

— Выручай, родненький! — взмолилась я, готовая Кирюшке на шею броситься.— Вот этот остукан бородатый против моего патриотического желания с ружьем идет, на базар не пущает, самолет купить не дает.

Сторож дулом ружья меня в бок двинул:

— Замолкни, воровка!— и в сторону Кирюшки глянул.— Не верьте ей, товарищ боец! Она тут без документов и без накладных. На меня, человека вооруженного, представителя Советской власти, кнутом замахивалась.

Кирюшка не стал его слушать, ко мне обратился:

— Ты, тетка Евдокия, у ворот стой, а я сейчас вернусь и все уладим.

Убежал он, а мы, под наблюдением вооруженного сторожа, остались недвижные. Более часа, поди, ждали. Но не напрасно, как оказалось.

Прибегает красноармеец Кирюшка, довольнехонек:

— Это тебе, тетка Евдокия,— и сует мне в руку бумажку с печатью,— разрешение на продажу муки и благодарность за самоотверженный патриотический поступок в пользу победы Красной Армии. А я буду тебя от жуликов охранять. Так что торгуй, пока все не расторгуешь!

Торговля, надо сказать, с самого начала пошла бойко. Кирюшка от меня ни на шаг. Зорко охранял — бородатого сторожа и других подозрительных лиц близко не подпускал.

К обеду все шесть подвод опорожнили. Стали деньги считать. А денег было невиданное множество — полмешка! Кирюшка, потехи ради, взвесил их. Гири показали девять с половиной килограммов. Мы три раза пересчитывали — сто двадцать пять тысяч рублей каждый раз выходило. Тютелька в тютельку. Шуточное ли дело — поболее, чем у самого Головатого!

Кирюшка советовал для пущей надежности и верной сохранности немедленно сдать деньги в Пугачевский государственный банк. Я было поддалась его увещанию. Но тут из Сулака милиционер на рыжей лошади прискакал. Его секретарь райкома самолично ко мне прислал, чтобы до родного села из города сопровождать и неотлучно при деньгах находиться. «В Пугачеве,— наказал ему секретарь,— ни в коем разе денег в госбанк не сдавать. У нас своя сберкасса имеется, и для нее будет высокая честь — столько денег на самолет получить! И не от кого-нибудь, а от нашей же сельской жительницы. Так что спешите в Сулак и нигде больше не задерживайтесь».

Кирюшка на повозке нас до самого села сопровождал — мы ехали следом за милиционером, который всю дорогу руку неустанно у расстегнутой кобуры держал.

Сдала я деньги в сберкассу самому главному нашему начальнику по финансовой части Семену Филимоновичу Климову. Все честь по чести вышло. А потом узнала, что и председатель колхозный Иван Дмитриевич Фролов тоже сделал заявку на самолет точно такой же, что и мой,— на Як-3.

Взглянуть на истребители, подаренные нами Красной Армии, меня вместе с Иваном Дмитриевичем повезли

ровно через три недели. И партийный секретарь Иван Павлович Шиндин тоже поехал с нами на авиационный завод.

Самолеты, честно скажу, одно загляденье, что тот, что другой,— новенькие, только что покрашенные. Иван Дмитриевич с Шиндиным не выдержали, в кабину поднялись. Залезть-то залезли, а вот как выбраться обратно — не знают. Никакого авиационного опыта! Хорошо летчики рядом оказались. Подсобили нашим мужикам. Потом и меня пригласили. Но я отмахнулась. Больно надо! Еще, чего доброго, задену за какой-нибудь рычаг, и он, самолет-то, сам по себе в небо взлетит. Как я им управлять буду?

Познакомили нас и с теми, кто самолеты наши в бой поведет. Оба летчика — и товарищ Майковский, и товарищ Катрич — были парни хоть куда, капитаны по званию, с орденами на груди.

Мы с ними всю войну переписку вели и в газетках нередко про их подвиги читали. Гордились своими пилотами!

Прямо скажу, повезло нам с Иваном Дмитриевичем — в надежные руки самолеты попали! Мой-то летчик, товарищ Майковский, к концу войны полковником стал, а товарищ Катрич, слышала, еще дальше пошел — генерал он ныне.

До самого Берлина гнали врага наши летчики, и, когда прогремел салют Победы, получили мы от них поздравления точно такие, какие солдаты-герои за войну получили. И медали нам тогда тоже дали.

А что? Если подумать как следует, то и наш вклад в победу внесен. Не купи мы самолеты, победа, возможно, пришла бы не девятого мая, а десятого. А что один день на войне значит — спроси у бывалых солдат — они тебе об этом получше моего скажут. Вот так-то, милок!»

НАВЕЧНО В СТРОЮ



Но, бывает, расстается
С кораблем своим моряк,
Значит, силу краснофлотца
На земле узнает враг.
Ничего, что сердцу тяжко,
Что не флотская шинель,—
На твоей груди тельняшка,
Темно-синяя фланель.
Это в бой идут матросы,
Это в бой идут моря!

Из песни времен
Великой Отечественной войны

В нескольких километрах от Таллина, на возвышении, стоит обелиск, увенчанный пятиконечной звездой, с надписью о бессмертном подвиге комсомольца-краснофлотца Евгения Никонова. Именем его названа одна из улиц столицы Эстонии, а в городском парке возвышается памятник юному герою.

За тысячи километров от этих мест, на берегу Волги, тоже сооружен высокий обелиск в честь этого славного патриота. Имя Евгения Никонова присвоено пионерскому отряду средней школы, которая расположена неподалеку. Здесь, в маленьком приволжском городке, он родился, провел свои детские и школьные годы. Отсюда ушел на фронт, шагнул в бессмертие...

Случилось это в первый год войны, в августе 1941 года. Фашистские полчища вплотную подступили к столице советской Эстонии. На боевом корабле в помощь войскам, оборонявшим Таллин, спешно формировался отряд морской пехоты. Одним из первых пришел к командиру и заявил о своем желании записаться в отряд торпедный электрик Евгений Никонов. Вместе со своими боевыми товарищами он оставил корабль и ринулся в бой.

Жестокое, упорное сражение разгорелось близ хутора Харку. Враг имел численное превосходство, и небольшому отряду морской пехоты старшего лейтенанта Шевченко пришлось оставить позиции. Уходили с тяжелыми боями, поливая кровью каждую пядь земли. Враг, вконец измотанный, прекратил стрельбу, устроил передышку. Но к вечеру в стане неприятеля вновь началось усиленное движение.

— По всей видимости, фашисты получили свежее пополнение, восстановили силы,— рассудил Шевченко и обратился к матросам:— Кто пойдет в разведку? Нужно точно установить, что происходит на хуторе. Есть добровольцы?

— Разрешите мне, товарищ командир! — первым откликнулся Евгений Никонов.

— Куда ж ты пойдешь? — отмахнулся Шевченко.— Ты ж только вчера был в разведке. И рана у тебя еще не зарубцевалась. Отдышись малость, подлечись. Других пошлем.

Охотников пойти в разведку нашлось сразу несколько. Но Евгений настойчиво просил:

— Меня отправьте. Местность эта мне хорошо знакома. Очень прошу вас, товарищ командир!

И Шевченко согласился. Под прикрытием ночи Евгений с двумя разведчиками отправился в тыл неприятеля. Прижавшись к земле, они незаметно подкрались к самому хутору. Прошел час, другой...

Перед самым рассветом со стороны хутора долетели выстрелы. И сразу стало тихо. Затем темноту озарила яркая вспышка пламени. И сквозь гнетущую тишину ветер, налетевший из хутора, донес приглушенный крик:

— Товарищи, отомстите!

Морякам, напряженно ждавшим возвращения разведчиков, стало ясно — товарищи попали в беду. Надо немедленно спешить на выручку. Старший лейтенант отдал приказ:

— Гранаты к бою! Вперед, товарищи!

Враг прошил воздух пулеметными очередями. Но и огненный свинец не смог остановить моряков. Неудержимой лавиной обрушились они на хутор, смяли ряды неприятеля, отбросили его далеко за Харку.

Морские пехотинцы отправились к тому месту, откуда в ночи раздался крик. И тут их взорам открылась страшная картина: в огне и дыму костра стоял столб. К нему был привязан человек. На его опаленном, изувеченном теле — окровавленная тельняшка. Моряки с большим трудом узнали своего товарища. Это был Евгений Никонов. Он уже не дышал. Вблизи костра лежала бескозырка...

Немцы, захваченные в плен моряками, рассказали подробности. Возвращаясь из разведки, Никонов был тяжело ранен и попал в лапы фашистов. Гитлеровцы стали пытать балтийца, добиваясь от него военных сведений: где рассредоточены войска, оборонявшие Таллин, какова численность отряда морской пехоты, каковы их планы и что намерены моряки предпринять. Помня присягу, матрос-комсомолец не отвечал ни на один вопрос. Мучители выворачивали ему руки, били прикладами. Он молчал. Фашистские солдаты ножами полосовали тело балтийца. Но он молчал. Тогда гитлеровский офицер придумал для непокорного еще более страшную пытку:

— Поджарить его!— распорядился он.— Уж тогда-то морячок заговорит!

Никонова подвесили к столбу и разожгли костер под ногами, обвязанными веревкой. Языки зловещего пламени лизали живое тело. Но советский матрос продолжал молчать. Никакие пытки не смогли сломить его волю, заставить выдать врагу военную тайну. И лишь в последние минуты жизни у него вырвался крик:

— Товарищи, отомстите!..

И моряки мстили, без пощады громя немецкие банды. Пожалуй, никогда еще враг не сталкивался с такой сокрушающей силой удара, с такой неистовостью атаки, которую предприняли в тот день моряки. Каждый из них дрался за десятерых!

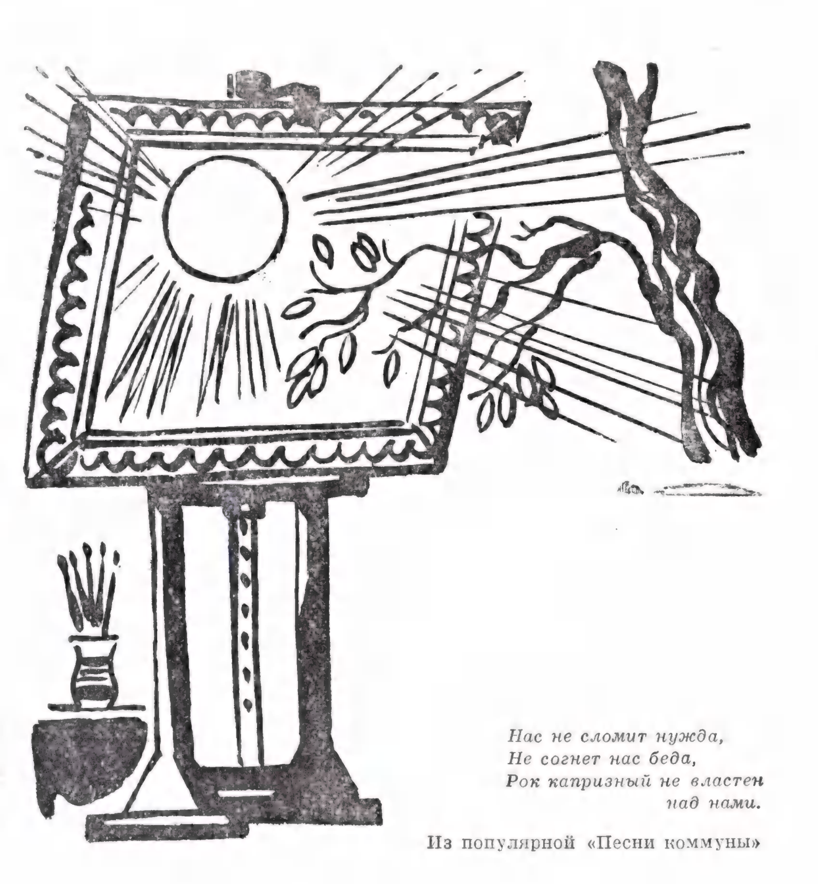
А вечером, после победного сражения, балтийцы похоронили своего боевого друга. И осиротевшая бескозырка, на ленточке которой золотом горело название родного корабля — «Минск», украсила небольшой холмик как простой и вместе с тем величественный памятник мужеству матроса-комсомольца, пламенного патриота советской Отчизны. Друзья-моряки присвоили имя Евгения Никонова первому торпедному аппарату корабля, где была установлена мемориальная доска с описанием подвига героя. Торпедный электрик Никонов навечно был зачислен в списки экипажа корабля.

...Среди зелени таллинского парка Кадриорг поднялся высокий памятник. Тяжелые, выточенные на камне знамена скорбно свисают к подножию монумента. На переднем плане — бронзовый барельеф, а под ним подпись: «Евгений Никонов».

Сбоку на камне можно прочитать слова, выведенные на русском и эстонском языках:

«При обороне Таллина 19 августа 1941 года тяжело ранен и после мучительных пыток, не выдав врагу военной тайны, живым сожжен на костре немецко-фашистскими захватчиками. Вечная слава герою!».

СОЛНЦЕ НА ВАТМАНЕ



Нас не сломит нужда,
Не согнет нас беда,
Рок капризный не властен
над нами.

Из популярной «Песни коммуны»

На художественной выставке в Портовом поселке внимание посетителей особенно привлекала одна картина. Возле нее постоянно толпилась публика.

Широкими, уверенными мазками живописец изобразил молодых людей с ружьями. Они возвращались с охоты. Один из них — тот, что был нарисован в центре картины,

среди своих приятелей,— увлеченно рассказывал им какую-то забавную историю, и они заразительно хохотали. Парень, шагавший рядом с рассказчиком, косил на него лукавый глаз: «Ну и горазд же, мол, ты, братец, на разные байки! Только меня, стреляного воробья, на мякине не проведешь...»

— Вот тот, крайний,— пояснял, указывая на картину, бородач в рабочей спецовке,— точь-в-точь Александр Разливанов, фотограф наш. Похож как две капли воды. А этот — Вася Неутолимов, старший мастер нашего завода. Заядлый охотник. Верно подмечено. Художник-то, видать, из шутников. Веселым глазом взглянул на нашенских охотников!

— У этого художника-«шутника», как вы изволили выразиться, рук нет. Обеих. На фронте лишился.

Неожиданное сообщение экскурсовода озадачило, ошеломило посетителей. В зале сразу стало тихо.

Бородач, который только что узнавал в картине своих знакомых, недоуменно проговорил:

— Постойте... Вы говорите — без рук. А как же вот это, картина-то? Тут и с руками-то не всякий...

Экскурсовод пояснил:

— Одержимость.— Потом, чуть помолчав, добавил: — И призвание...

Перед огромным загрунтованным полотном, туго натянутым на деревянную рамку, стоит худощавый человек в майке. Перед ним — краски, кисти, карандаши. Художник беспокоен, все время в движении. Отсутствие рук и худоба тела делают его фигуру по-мальчишески щуплой, угловатой, но глаза, большие и глубокие, смотрят серьезно. Они не разгораются весельем даже тогда, когда лицо улыбается. Волевой взгляд. Сразу чувствуется, человек этот принадлежит к племени людей сильных и упорных.

Темные густые брови слегка вздрагивают.

Художник глубоко затягивается папиросой, задумчиво смотрит сквозь белесый дымок на полотно, морщит высокий лоб.

Он стоит посреди маленькой комнаты, и память воскрешает давние картины юности, суровые, насупленные лица друзей-однополчан, поле битвы, пропахшее гарью; мрачные фигурки убегающих фашистских солдат...

И все это нужно нанести на полотно. Картина должна называться «Стойкость». Или нет — «Победа». А может быть, как-нибудь по-другому. Пока еще не решил. Не в названии суть. Ясно одно — картина раскроет суровую правду войны, поведает о героизме русского воина. Таков замысел художника.

А может, картину следует назвать просто — «10 апреля 1945 года»? Ведь эта дата художнику особенно памятна.

...Тогда офицеру Виктору Кувшинову было двадцать лет, но он уже командовал стрелковой ротой. Солдаты залегли на западном берегу Одера. Получен приказ командования: «Держаться до последнего. Ждать подкрепления». А враг палил из орудий, час от часу усиливал огневой натиск. Взмахнув руками, поник у ног Виктора пулеметчик. Захлебнулся, заглох пулемет.

Гитлеровцы двинулись в атаку. Стреляя, они поднялись во весь рост и густой черной тучей приближались к окопам.

Виктор припал к пулемету:

— Шалишь, не выйдет номер!

Он посылал очередь за очередью, поливая свинцом неприятельские цепи.

Пулемет замолк, когда кончились патроны. Виктор поднялся, вскинул над головой гранату и первым выскочил из укрытия.

— За мной, в атаку! — громко крикнул он и, не оборачиваясь, ощутил, как поднимаются за его спиной солдаты.

Взрыв колыхнул под ногами землю, ослепил, оглушил Виктора. Упругая волна швырнула его далеко в сторону. Потерял сознание. А когда очнулся, почувствовал — нет правой руки. Ее оторвало выше локтя. Правый глаз не видел. Страшная боль пронизала тело.

«Калека. На всю жизнь калека,— мелькнула мысль.— Лучше смерть...»

Он пошевелил левой рукой, пытаясь дотянуться до нагана. Бесполезно. Понял — и вторая рука перебита.

Хирург госпиталя, куда доставили раненого Кувшинова, печально качнул головой:

— Тридцать шесть повреждений на теле и значительная потеря крови. Не жилец...

В госпитале шла борьба за жизнь Виктора Кувшинова. Опытный хирург, санитары, медсестры круглые сутки не отходили от постели больного: вливали кровь, поддерживали дыхание, следили за пульсом...

А с передовой на далекую Волгу, где жила мать Виктора, пришло извещение, что ее сын геройски погиб в боях за Родину.

Прошел месяц. И раненый, к удивлению и радости всей палаты, впервые подал голос. Он смотрел на пустые рукава своей больничной рубахи и морщился — не столько от боли, сколько от горестных раздумий о своей несчастной судьбе.

В минуты, когда становилось особенно тягостно, он просил санитарку Оксану Нестеренко почитать книгу. Она, словно догадываясь, что ему надо, раскрывала старенький потрепанный томик Николая Островского «Как закалялась сталь».

«Павка Корчагин, парализованный и ослепший, оставался в строю. А я? Смогу ли вот так, как он?» — мучился Виктор Кувшинов.

Сердечная санитарка Оксана видела безысходную тоску в его глазах и пыталась рассеять отчаяние:

— Сможешь, сможешь, Виктор! Только нужно очень, очень захотеть! Найдутся силы для жизни. Только верь в себя... Ну, скажи, кем ты мечтал быть до войны?

Виктор ответил с горькой ухмылкой:

— Художником. А судьба посмеялась надо мной,— он показал обвисшие рукава.

Ему представилась родная школа в Нижнем Санчелееве, из десятого класса которой он ушел на фронт. Вспомнился учитель рисования Анатолий Васильевич. Однажды он попросил Виктора расписаться на какой-то бумаге, а он вместо росписи нарисовал веселого кота. Думал, обидится учитель. А тот лишь рассмеялся:

— Сразу видно художник! Ловко ты кота... Одним штрихом!

С той поры стали дразнить Виктора в классе «кошачьим художником». Но это ни капельки не обижало его: приятно было числиться в художниках, пусть даже «кошачьих»!

Кувшинов рисовал всюду, где можно и где нельзя: на доске и парте, на стенке и в тетради по арифметике, в

классном журнале и на страницах учебника. Ни одного номера школьной стенгазеты не выходило без его рисунков и карикатур. И чем дальше, тем сильнее одолевало желание пойти после школы в художественное училище, а затем — в академию. Он и на фронте не расставался со своей мечтой: делал карандашом беглые зарисовки солдатского житья-бытья, набрасывал на бумагу портреты боевых товарищей. «Эх, если бы масляных красок достать! — не раз говорил он.— Подождите, кончится война...»

И вот пришел мир. Солдаты разъехались по домам. Каждый — к своей мечте. А мечта Виктора Кувшинова отступила далеко-далеко и, казалось, отступила навсегда, безвозвратно...

— Ну, подумай, Оксана, разве можно художнику без рук? — посмотрел он в упор в глаза санитарки, поднявшись с койки. И, видя, что та молчит, ответил за нее: — Нет, не может! Не было такого случая...

Знал это Виктор наверняка, но не мог, не желал отказаться от заветной мечты. Сжимая карандаш зубами, начал учиться писать буквы, приблизив тетрадный лист вплотную к лицу. Буквы выходили корявыми, неровными, громоздились одна на другую. Порой ничего нельзя было разобрать. Карандаш не держался в зубах, выскальзывал. Санитарке приходилось то и дело поднимать его с пола и подавать Виктору. А он снова и снова заставлял себя делать то, что казалось невозможным.

Поздно ночью, изнуренный непосильным трудом, он засыпал, уткнувшись лицом в тетрадь, где на каждой странице видны были неуклюжие следы его дневных мук и страданий. А утром санитарка Оксана снова заставала Виктора за прежним занятием с карандашом в зубах...

Так прошло лето. За окном госпитальной палаты клен оделся по-осеннему. В воздухе кружились багряные листья и тихо ложились на пожухлую траву, укрывая землю от стужи.

Виктор запомнил один из этих дождливых сентябрьских дней на всю жизнь. Запомнил, как удивленно смотрела тогда на него молоденькая санитарка: он попросил Оксану отнести на почту письмо, адресованное в далекое селение. Запомнил, как читала она, чуть не плача от радости, четкие, аккуратные строчки на конверте, как потом письмо пошло гулять по палате, переходя из рук в руки, вызывая изумление раненых: «Неужто сам Кувшинов

писал!? Вот ведь...» Уж кто-кто, а они-то знали, каких огромных усилий стоило автору это его первое послание домой. Письмо было шутливым и лиричным. Такие письма он писал матери с фронта...

В родные края Виктор возвратился с верой в свои силы. В поселке гидростроителей, где он поселился с матерью, у него сразу же появилось много друзей. По вечерам шумливой гурьбой вваливались они к Виктору на квартиру. Дружеское застолье нередко затягивалось далеко за полночь. Виктор показывал друзьям толстую тетрадь с записями рассказов о войне, они зачитывали их вслух, а потом, как заправские критики, серьезно, без поблажек оценивали литературные пробы своего приятеля. Рассказы следовали один за другим, и то, что написаны они были красивым, ровным почерком, которому мог позавидовать любой канцелярист, никого теперь не удивляло. Виктор научился не только владеть ручкой и карандашом, но и кистью, начал понемногу рисовать. Друзья подарили ему набор масляных красок, помогли загрунтовать и натянуть на подрамник холст.

Первой картиной — копией, которую он решил сделать, была работа Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Почему именно она? Виктор объяснил друзьям так:

— Посмотрите — сколько людей, и все в движении. Бегут, мечутся, объятые страхом. Нарисовать так непросто. Вот эта сложность и привлекла меня прежде всего. Начинать надо с самого трудного. Только так можно проверить свои силы.

Уткнувшись в холст, установленный в центре комнаты, он целыми днями колдовал над картиной. Резало глаза от пестроты красок, кружилась голова. Виктор плотнее сжимал зубы, держащие кисть, припадал к холсту и с величайшей осторожностью, неторопливо наносил на полотно мазок за мазком.

Первый вариант картины не удался, не было должного сходства с оригиналом. Принялся рисовать заново. Писал еще три месяца. Три месяца не знал покоя: работал, работал, работал... Пять раз переделывал картину, пока не нарисовал ее так, как хотелось.

И вот друзья осмотрели придирчиво его работу, мнение было единодушным:

— Нарисовано неплохо...

Друзья повесили картину в комнате художника на самом видном месте.

А Виктор снова взял в зубы кисть. Масляными красками, колдуя над холстом с утра до вечера, делал копии с картин известных русских живописцев: «Аленушка», «Утро в лесу»...

— Ты бы, Витя, попытался что-нибудь свое, оригинальное изобразить,— советовали друзья.

Приятели Виктора: и бывший летчик Михаил Хорошилов, и гидростроитель Валентин Жиганов, и мастер завода Василий Неутолимов, и братья Александр и Петр Пекарские, и фотограф Саша Разливанов — все страстные охотники. Когда Виктор сказал им, что хочет нарисовать своих друзей с патронташами у пояса, с дичью в руках, они одобрили замысел и стали приходить по воскресеньям позировать.

Так родилась картина «Возвращение с охоты». Однажды картину эту увидел художник Андрей Кузьмич Вингорский и отобрал ее на выставку работ молодых живописцев. На выставке картина получила высокую оценку публики, и Виктор сразу стал признанным художником. И новые, еще более значительные замыслы зародились у этого мужественного, неутомимого человека.

С помощью устроителей выставки в Портовом поселке я разузнал адрес Виктора Кувшинова. Его семья — мать, жена Люба и сын Валерик — жила тогда в маленьком уютном домике, стоящем среди сосен, у самой реки.

— Красотища-то вокруг! Поневоле художником станешь,— кивнул Виктор в сторону реки, где ослепительно горела на солнце необъятная синь водохранилища.— Будущую картину думаю назвать «Новое море».— И он рассказал, как во время недавней прогулки по берегу неугомонный Валерик подбежал к воде, опустил в нее ногу и ликующе крикнул:

— Папа, гляди, я на море наступил!

Всех рассмешил. Вот тогда и захотелось Кувшинову написать картину о рукотворном, в солнечных бликах, море. И пусть на ней все будет, как в жизни: и ликующий сын в воде, и они с женой на берегу, и пароход вдали...

— Твердо решил.

В словах художника чувствовались уверенность и непоколебимость.

— И учиться буду. Закончу десятый класс, поступлю в художественное училище. Об этом мечтаю с детства. Пусть даже заочно — только бы зачислили. Туда, слышал, необходимо акварельные работы представить, а я прежде с акварелью не очень-то ладил. Придется наверстывать упущенное. Вот начал, полюбуйтесь...

И он развернул передо мной широкий лист ватмана с чудесным весенним пейзажем, полным солнца и воздуха.

Рассматривая эту красочную акварель, созданную Виктором Кувшиновым, я совсем забыл, что передо мной — художник, лишенный обеих рук, человек, который изо дня в день совершает подвиг, творит чудо. Творит во имя своей мечты, во имя любви к жизни.

ТРУДНЫЕ ВЕРСТЫ



Пускай к победе путь был труден,
Но вот пришли плоды труда.
Еще мы долго помнить будем
Как Сыскин, Чернышев, Ушмудин
Водили автопоезда...

Из песни, сочиненной
в Куйбышевской области

Армейскую службу Семен Ушмудин начал в горнострелковой части техником-механиком. Однажды командир полка приказал солдатам построиться во дворе казармы. Окинул взглядом строй:

— Принято решение создать в полку автомехколонну. Нужны водители. Всех, кто владеет шоферской профессией, прошу пять шагов вперед...

Шестьдесят человек вышли из строя, и среди них — рядовой Семен Ушмудин.

— Опыт есть? — спросил полковник.

— Хлеб возил с колхозных токов на элеватор,— ответил Семен.— На грузовике. Знаком также с машиной американской марки «шеврале». На курсах изучали.

— На каких курсах?

— В автокружке.

И полковник стал расспрашивать об отличительных особенностях автомашин разных марок, советских и зарубежных.

Семен отвечал четко, лаконично. Полковник остался доволен.

— Парня этого возьмем,— заключил он.— Мало говорит, но знает больше других.

Лишь тринадцать солдат отобрал в тот день полковник в автомехколонну.

Разные задания довелось выполнять Ушмудину во время солдатской службы. На дивизионных учениях его машина чаще всего держала на прицепе противотанковую пушку. Точно в срок доставлял он орудие туда, куда нужно. И вскоре присвоили ему за успешное несение воинской службы звание младшего сержанта.

В тот день вызвал его полковник к себе в штаб. Ушмудин явился в положенное время, отдал честь:

— Товарищ полковник, младший сержант Ушмудин явился по вашему приказанию!

А полковник ему:

— Кру-гом! Явитесь, младший сержант, ко мне через двадцать минут по всей форме.

Семен снова отдал честь и круто повернулся к двери.

Вышел в приемную, придирчиво осмотрел свое обмундирование, одернул гимнастерку, решив, что это из-за нее, заправленной под ремень недостаточно аккуратно, отказался полковник разговаривать с ним. Выждал двадцать минут. И снова — строевым шагом в штабную комнату.

А полковник ему и на этот раз:

— Кру-у-гом! Шагом марш! Вы, товарищ Ушмудин, с сегодняшнего дня числитесь в звании младшего сержанта. А судя по погонам, до сих пор рядовой.

— Не успел поменять, товарищ полковник!

— Пока не приведете армейскую форму в соответствие с новым званием, разговаривать с вами отказываюсь,— и вдруг улыбнулся новоявленному сержанту.— Нужные лычки вам мой адъютант достанет. Обратитесь к нему. До армии он портным работал. Так что пришьет в один миг по всем правилам.

И действительно, не прошло и пяти минут, как на погонах Семена Ушмудина засверкали сержантские лычки.

— Ну, вот, теперь совсем другое дело! — приветствовал его полковник.— Сегодня же, младший сержант Ушмудин, примите отделение шоферов. Будете командовать. Желаю удачи!

Я только-только начинал свой журналистский путь в редакции куйбышевской «Волжской коммуны», когда на газетной полосе впервые появилась фамилия Ушмудина. Потом фамилия эта стала встречаться все чаще, обращая на себя всеобщее читательское внимание. Недавний младший сержант, возвратившись из армии, стал лучшим шофером области.

Однажды — в самый разгар уборочной страды — газета опубликовала передовицу, не похожую на все прежние. Статья была озаглавлена — «Шофер Семен Ушмудин». В ней рассказывалось о невиданном рекорде Семена Ивановича. Пристроив к своей автомашине два большегрузных прицепа, он за каждый рейс от колхозного тока до элеватора перевозил столько зерна, сколько не в состоянии были поднять и четыре машины. Иными словами, свой грузовик он превратил в автопоезд, чем значительно ускорил темп перевозки хлеба.

У новатора сразу же объявились последователи. Семен Ушмудин стал зачинателем социалистического соревнования шоферов-«тяжеловесников» — так теперь именовались водители степных автопоездов.

«Сегодня мы говорим о ценном почине Семена Ушмудина,— писала газета,— а завтра другой патриот перекроет его достижение. Это сейчас и требуется. В этом — главный резерв ускорения перевозок хлеба».

Урожай в приволжских колхозах в тот год выдался отменный, и не будь этих автомобильных новшеств, не хватило бы машин, чтобы вывезти весь хлеб с полей. Так что ушмудинская инициатива пришлась очень кстати.

Возле куйбышевского элеватора, за Хлебной площадью, выстраивались толпы зевак, чтобы полюбоваться этим автодивом — поездами без рельсов. Груженные зерном, припудренные серой степной пылью, они вытягивались на дороге, словно многовагонный железнодорожный состав. Зрелище и на самом деле было впечатляющим. Прохожие останавливались, с любопытством осматривали автопоезда, одобряли деловую изобретательность и смекалку шоферов-«тяжеловесников». Имя Семена Ушмудина упоминалось чаще всего. Упоминалось с почтением, уважительно.

И уж, пожалуй, меньше всего предполагали тогда любопытствующие прохожие, да и сами шоферы, что буквально через год-два на городских улицах появятся новые автомобили, своим внешним видом напоминающие чем-то первые ушмудинские автопоезда. На строительные площадки прибыли диковинные поезда-самосвалы с двумя самосвальными прицепами, а по дороге из Куйбышева в Большую Глушицу проследовал бензовоз, к хвосту которого были прицеплены две огромные цистерны. Автопоезда с надписью «Хлеб», «Молоко», «Квас», многочисленные поезда-автофургоны, свободно курсирующие ныне по городским улицам,— это ведь тоже порождение новаторской ушмудинской мысли, разноликие братья его грузового автопоезда с двумя, тремя, четырьмя прицепами.

А вскоре и столичная печать сообщила о замечательных делах Семена Ушмудина и его последователей.

Шоферская гвардия «ушмудинцев» росла день ото дня.

Хотя я и не был лично знаком со знаменитым шофером, но даже и после переезда в другой город вдали от родных волжских мест, продолжал следить по газетам за своим земляком и радовался его новым удачам в работе.

В завершающем году девятой пятилетки, когда в газетах замелькали сообщения о трудовых победах рабочих и колхозников, вставших на вахту в честь XXV съезда КПСС, фамилия Семена Ивановича вновь появилась в газетной заметке — он выступил застрельщиком социалистического соревнования шоферов.

В популярнейшем среди шоферов журнале «За рулем» в мае 1975 года я прочитал такие слова: «В 1956 году автопоезда исчислялись единицами. Сейчас их только в Средне-Волжском управлении свыше 2 тысяч. В те далекие годы десять тонн за рейс было чуть ли не подвигом.

А сейчас Ушмудин изо дня в день водит «Урал» с двумя прицепами, перевозит за каждый рейс по 30—35 тонн, и это никого не удивляет. Вот какие они — шоферы старшего поколения Средне-Волжского транспортного управления!».

Журнал «За рулем» попал мне в руки совершенно случайно. Его оставил на столике в купе кто-то из пассажиров, когда мы ехали в Куйбышев. И уже тогда, в дороге, я принял твердое решение: во что бы то ни стало разыскать в родном городе Семена Ивановича Ушмудина.

Как только сошел с поезда, отправился в автоколонну, благо расположена она поблизости от вокзала.

Ушмудина там я не застал. Но зато раздобыл его домашний адрес. Организовал круглосуточное дежурство возле ушмудинской квартиры.

Мои старания в первый день не увенчались успехом. С самого утра Семен Иванович ушел в техникум сдавать экзамен по математике. До позднего вечера ждал я его и, не дождавшись, отправился ужинать. И надо же такому случиться — в это самое время он на несколько минут забежал домой. Когда я пришел, его и след простыл: отправился в ночной рейс. Такая досада! Встретились мы с Ушмудиным лишь на третьи сутки, рано утром.

Окидывая взглядом его могучую фигуру, я невольно подумал: он и есть самый натуральный богатырь. Неторопливый в движениях и неспешный в разговоре, с широкой грудью и открытым, волевым лицом, посмуглевшим от степного солнца и ветра, он поначалу произвел на меня впечатление человека несколько замкнутого и степенного.

Но вот Семен Иванович широким жестом пригласил к столу и, убирая со скатерти беспорядочно разбросанные тетрадные листки с какими-то записями, вдруг глянул на меня весело:

— Вчера последний экзамен сдал. По математике. Четверку заработал! Дрожал как школьник...

Невольно он улыбнулся.

— Математика для меня — нож острый! — Ушмудин провел пальцем по горлу.— Экзамены на носу, а ты деньденьской за баранкой. Отпросился в отпуск. Зубрю математику. А она ни в какую! Голова пуста, как кузов после разгрузки. Совсем впал в отчаяние. Спасибо Олень-

ке, дочке моей. И в музучилище занимается, и в математике головастая. Взяла меня на буксир...

С этого мига он сразу стал для меня понятнее, проще. И это ощущение близости, дружеского расположения не угасало до конца нашей беседы. Оно постепенно усиливалось и укреплялось, вызывая в душе доверие и уважение к нему еще более сильное, чем прежде, когда судил о нем лишь по людской молве да по газетным выступлениям.

— Странное дело,— сказал я ему,— второй год вы учитесь в техникуме, а никто об этом не знает. Ни в автоколонне, ни в редакции.

— А я об этом никому не говорю,— неожиданно перебил меня Ушмудин.— Зачем? Скажут еще: экая блажь на человека напала — на сорок шестом году студентом заделался. Не всякий поймет. А между тем не только на заводы, но и к нам в автохозяйство новейшее оборудование поступает. Без образования его не освоить. Верный указ вышел — всенародно шагать к всеобщему среднему. Вот я и шагаю. Спотыкаюсь, правда, на каждом шагу, но останавливаться не намерен, как бы тяжко ни пришлось. Рыбаки говорят — без труда не вытащишь и рыбку из пруда. А я сам заядлый рыбак. Подтверждаю — правильная поговорка! Помолчал и сказал раздумчиво: — Газетчики обо мне, что правда, то правда, частенько пописывают. Но жизнь мою они почему-то лишь одной стороной к людям поворачивают. Парадной. Только и читаешь — наградили, премировали, добился рекорда... Сплошные праздники! Ни сучка, ни задоринки. Словно и не буксовал никогда. А ведь всякое бывало. Шоферу редко выпадают на долю легкие версты. Каждый рекорд в муках рождается. А уж коли речь о моей жизни зашла, то прямо скажу — с самого начала она по трудным верстам движется. С самого моего рождения.

Вспоминая свое детство — родился он в приволжском селе Подъем-Михайловка в тот самый год, когда там был образован колхоз, родился на сороковой день после смерти отца, который одним из первых написал заявление о своем желании стать колхозником,— Семен Иванович добрым словом помянул людей, научивших его трудиться.

Все Ушмудины-мужчины были механизаторами. Да еще какими! Портреты их в МТС из года в год вывешивались на доске Почета. Дядя Вася был шофером, дядя

Ваня — бригадиром тракторной бригады, а брат его Егор — трактористом. Со своим трактором ЧТЗ он и на фронте не разлучался — прямо из колхоза уехал на нем воевать с фашистами.

Еще перед войной мать Семена Ивановича с семьей перебралась в город.

Семен не забывал родного села, каждое лето ездил в Подъем-Михайловку к дядьям. Дядя Вася учил его управлять машиной-полуторкой, а дядя Ваня — трактором. В четырнадцать лет Семен уже самостоятельно водил грузовую машину.

Шла война, мужчин на селе не хватало, и ему приходилось возить зерно на ссыпной пункт. Что и говорить, нелегко приходилось. Совсем еще несмышленышем был. Надо заводить машину, а силенок не хватает. Из последних сил надрывался, но упрямо добивался своего.

Мальчишки-одногодки за ним гуртом бегали, просили на машине покатать, к рулю тянулись. Семен для них был высшим авторитетом. Но однажды конфуз вышел. Семен на автомашине вез зерно на элеватор. На полпути к городу заглох мотор. Вылез Семен из кабины и стал железной ручкой заводить двигатель. Бесполезно. Машина ни с места. Ясное дело — с аккумулятором что-то стряслось. Но что именно: попробуй угадай! И никого поблизости нет, кто бы советом помог.

Совсем было приуныл парень. Шуточное ли дело — застрять с хлебом посреди безлюдной степи!

И тут с поля донесся какой-то рокот. По звуку определил — трактор ЧТЗ. Обрадовался. Уложил аккумулятор в мешок из-под зерна, перекинул через плечо и — прямиком, по пашне, навстречу тракторному рокоту.

Жарко. Пот градом. Рубаха к телу липнет.

Увидел трактор, сбросил мешок со спины, замахал руками, подзывая тракториста.

Тот подъехал ближе. Лицо разглядеть можно. Мальчишечье лицо, все в веснушках и курносое. Жди от такого помощи!

Показал Семен ему аккумулятор, стали они сообща думать и гадать, что делать.

— Заряжать надо,— серьезно заключил несовершеннолетний тракторист.— Видать, сел.

Кое-как присоединили батарею, зарядили.

Семен с благодарностью пожал замасленную руку своему спасителю и с тяжеленным мешком за спиной поплелся обратно к машине.

Помимо ожидания, двигатель на этот раз заработал с первого же оборота.

Обрадованный Семен гнал машину на предельной скорости, не обращая внимания ни на жару, выжимавшую из него ручьи пота, ни на странную, режущую боль, словно кожу на спине кто солью посыпал...

Пока на элеваторе зерно выгружали, Семен вышел из кабины. Пот рукавом с лица смахнул. И тут услышал незлобное хихиканье за спиной:

— Смотрите, люди добрые, Сенька-то наш новый фасон придумал — рукава и перед у рубахи имеются, а на спине прореха. Потеха!

Так вот, оказывается, в чем причина — Семен не заметил, как часть электролита ему на спину пролилась, когда он по полю аккумулятор в мешке тащил. Рубаха под воздействием электролита расползлась, да и штанам досталось: кое-как держались. А тут вокруг — девчата. Срам один!

Оставил Семен машину возле элеватора, а сам домой на трамвае поехал. Всю дорогу спиной к стенке стоял.

С улыбкой поведав мне об этом случае из своего детства, Семен Иванович сделал такой вывод:

— От неумения до смешного — один шаг. Знай я тогда, как опасен электролит, оплошности бы не получилось, не вылез бы людям на смех. Если бы только смех! А то почти двадцать лет на спине белую отметину носил. Долго пятно не сходило. Потом умнее стал, опыта понабрался. Я ведь после семилетки стажером в автороте работал. После этого шоферские курсы окончил. Но самой серьезной автошколой стала для меня, пожалуй, служба в армии. В транспортное автомобильное отделение полка был определен. До сержанта дослужился. Из армии — прямым ходом в родную автоколонну.

— И в автоколонне вам впервые пришла мысль об автопоезде? — спросил я.

— Не совсем так,— Ушмудин покачал головой.— Еще в армии об этом подумывал. Нас как-то на перевозку хлопка бросили. Всей ротой. В Казахстане дело было. Приезжаем. Грузим. Норму перевыполняем. А меня досада берет. Машина — четырехтонка, а хлопка нам нагру-

жают по две тонны. «Не дело,— говорю,— не в полную нагрузку техника используется. Надо мешки потуже набивать». Послушались. Выработка на перевозках вдвое подскочила. Нечто похожее и здесь произошло. Строители требуют: «Кирпича давай побольше!». А у колхозников с хлебом затор — машин не хватает, чтобы с поля вывезти. Как тут быть? Выше борта зерна не насыплешь и кирпича не уложишь. И утрамбовать не утрамбуешь. Это тебе не хлопок. А мощность ЗИЛ-150, на котором я в ту пору работал, позволяла перевозить грузов значительно больше, чем кузов вмещал. Сама собой мысль напрашивалась — необходимо кузов расширить. Что я и сделал — надстроил борта на тридцать сантиметров выше. Но и этого оказалось мало. Оставался один выход — прицепить к автомобилю еще и тележку. Так появился автопоезд с несколькими прицепами. Это сейчас прицепы выпускаются заводским способом, а в то время мы их сами делали. Изготовить прицепы — дело нехитрое. Сложнее научиться водить машину с ними. Иные шоферы — из числа слабонервных — после первого же рейса от автопоезда, как от черта, шарахаются: «Мочи нет,— жалуются,— прицепы сильно болтает, а машину заносит. Того и гляди в кювет угодишь. Раз съездил и хватит!» Что и говорить, на одиночном автомобиле поспокойнее. Лишь люди опытные, волевые и хладнокровные остаются в «тяжеловесах». Не всем по нутру наши автопоезда. И поныне находятся скептики, маловеры. «Экое удовольствие — тяжеленный хомут на себя надевать!» — отмахиваются одни. «С таким хвостом сядешь в грязь — никаким трактором потом не выдернут, увязнешь вместе с прицепом!» — уверяют другие. «Тут и обычный-то грузовик не всегда до краев наполняют, а вы еще и фургон снарядили. Выдумщики!» — язвят третьи. Что верно, то верно — беспорядков у нас еще предостаточно: то погрузка зерна затягивается, то рытвины на дорогах, то шаткие мосты под шинами слезно стонут, того и гляди рухнут. А кто помехи устранить должен? Прежде всего мы сами, шоферы. «Тяжеловесы» в этом отношении уже кое-чего добились. Это по их настоянию дороги в глубинке в порядок приводятся, мосты ремонтируются. Погрузочно-разгрузочные работы повсеместно механизированы. Для автопоездов специальные весы и приемные устройства сконструированы. Но ставить точку на этом рановато. За автопоездами — буду-

щее. Надо в завтрашний день смотреть. Разумные шоферы верно толкуют — пора специальный учебный комбинат учредить для подготовки водителей автопоездов, присваивать звание не только шофера такого-то класса, но и водителя автопоезда такого-то класса. Без специальной подготовки автопоезд не «запряжешь», крутой подъем не одолеешь. Опытный «тяжеловесник» из любого положения найдет выход, не свернет назад. Такая уж у нас профессия...

Семен Иванович делился раздумьями о своей профессии, о проблемах, решенных и еще не решенных, которые волнуют и заботят водителей автопоездов.

А как-то рассказали мне такой случай. Автоколонна, ведомая Ушмудиным, возила зерно из дальнего селения в город. Ночь стояла морозная, метельная. Поземка перед машинами крутилась. Ни звезд в небе, ни дороги впереди не различишь... Машины то и дело буксовали, натыкаясь на снежные заносы. Шоферы вылезали из кабин, закоченевшими руками брались за лопаты. Метр за метром очищали путь от сугробов. Ветер выбивал лопаты из рук, валил людей с ног. Но шоферы, не спавшие ночь, обессиленные и измученные, упрямо делали свое дело — пробивались вперед.

К утру пурга до того разбушевалась, что желтый свет фар угасал буквально перед самым носом машины.

Ушмудин понимал, что, двигаясь наугад, колонна может сбиться с пути. Остановиться? Моторы заглохнут, не заведешь потом. Вьюга завалит машины снегом. Уставшие шоферы заснут в кабинах и еще неизвестно, проснутся ли на таком морозе. Надо двигаться дальше. Надо во что бы то ни стало!

Семен Иванович распорядился сблизить машины почти вплотную.

Несколько километров, не отставая, они двигались друг за другом, уверенные, что ушмудинская машина во главе колонны идет по верному курсу. Затем ураган ударил с такой свирепостью, что, казалось, весь белый свет перевернулся. Смотровые стекла густо залепил снег. Впереди на дороге поднялись высокие непролазные сугробы. На каждом шагу поджидала опасность. Ушмудин приглушил мотор. Замерли остальные машины. Семен Иванович кое-как открыл дверцу кабины, спрыгнул в сугроб и, прячась от ветра, ползком добрался до радиатора, спустил воду

и тут, обернувшись, сквозь снежную наволочь смутно различил неподалеку, за кюветом, что-то темное. «Должно быть, полевой вагончик»,— обрадованно подумал он и, поднявшись, медленно стал пробираться от машины к машине. Кричал шоферам, чтобы выбирались из кабины и следовали за ним цепочкой, взявшись за руки. Так они добрались до спасительного вагончика, где перед тускло мерцающей лампой уже сидело несколько затерявшихся в степи путников.

Укрывшись от стужи и ветра, шоферы повеселели, задымили папиросами, разговорились. Неожиданно Ушмудин спохватился — рядом с ними не было Евгения Буланова, хотя, помнится, он и его вызывал из кабины. Наверное, тот побоялся высунуться на мороз. Надо искать парня. Может замерзнуть.

Наперекор ураганному ветру и снегу, который слепил глаза, Ушмудин повел группу шоферов к тому месту, где должна была стоять булановская машина. Чтобы не потеряться в ночи, они привязали к будке длинную веревку, захваченную с собой одним из водителей, и, держась за нее, направились к дороге.

Буланов лежал в кабине съежившись. Губы посинели. Лицо белее мела, не подавал признаков жизни, как его ни тормошили. И лишь в вагончике, куда отнесли его на руках и где сделали ему искусственное дыхание, отогрели, растерли тело снегом, он открыл глаза, пришел в себя. А потом, когда вьюга угомонилась и колонна собралась двинуться дальше по дороге, расчищенной бульдозерами, Евгений Буланов подошел к ведущей машине, протянул Ушмудину руку, произнес взволнованно:

— Спасибо, Сеня! Без тебя мне бы каюк. Жизнью тебе обязан.

Семен Иванович ответил:

— Почему только мне?! И других шоферов благодари. У нас в бригаде общий закон: один за всех, а все — за одного.

Как-то, на закате лета, Семену Ивановичу в диспетчерской автоколонны вручили путевку: срочно отправиться в Августовку и доставить оттуда на куйбышевский элеватор зерно.

— Сделаешь один рейс,— сказали ему,— и можешь на рыбалку отправляться. Вторую неделю без выходных работаешь.

Подрулил Ушмудин к полевому стану и видит: на току высоченная, вровень с автопогрузчиком, гора пшеницы.

— Одному мне это и в трех кузовах не увезти,— сказал он.— Где остальные машины?

Председатель развел руками:

— Нет больше машин. Вся надежда на тебя,— и глянул из-под ладони в небо.— Солнце-то как печет! Недели две, пожалуй, погодка продержится. А там жди дождей. Успеть бы с зерном управиться. Ты уж там, на автобазе, скажи своему начальнику, чтобы еще кого-нибудь прислал...

Ушмудин ответил:

— Вряд ли подмоги дождетесь. Все машины в разгоне.

Загрузили колхозники кузова зерном, и Семен Иванович махнул им рукой на прощание.

А перед вечером его автопоезд снова прибыл к колхозному току.

— Начальник приказал? — спросил председатель.

— Да нет, сам напросился. Не пропадать же зерну!

Еще две недели он ездил в Августовку за зерном. Погода стояла как по заказу! Небо ясное, солнечное. Ехать по степи, наполненной веселым рокотом уборочных машин и звоном кузнечиков,— одно удовольствие. И совсем некстати в начале третьей недели, когда зерна на току осталось всего на один рейс, небо нахмурилось, закрылось темными тучами.

По уговору с председателем Ушмудин должен был провести эту ночь дома. Но перемена погоды заставила его отказаться от отдыха. Даже с женой не повидался. Разгрузил на элеваторе автопоезд и снова подался в Августовку.

На ток прибыл поздно вечером, когда все работы там уже кончились, а возле зерна дежурил один сторож.

— Рабочий день давно кончился...— сказал сторож.— Езжай-ка, милок, обратно, пока дождь не ударил.

Ушмудин не согласился.

— Зерно под дождем оставлять нельзя. Надо народ собирать, чтобы машину нагрузить. Порожняком обратно не поеду!

На машине он первым делом заехал к заведующему током. Вместе с ним стал собирать девчат, работавших прежде на погрузке. Кое-как уговорили их. Не удалось

разыскать лишь моториста. Сказали, что уехал на центральную усадьбу.

— Обойдемся без него,— решительно заявил Ушмудин.— Я сам буду за моториста.

С его помощью девчата установили самопогрузчик. Семен Иванович завел мотор. Началась погрузка зерна. Девчата с Ушмудиным трудились в полную силу. Сторож, глядя на них, тоже раззадорился, начал им помогать.

Была уже ночь, стал накрапывать дождь, когда автопоезд тронулся с места, увозя с тока последнюю пшеницу.

Дождь с каждой минутой усиливался. Месиво грязи, образовавшееся у моста, засасывало колеса машины. Прицепные тележки, скользнув по глинистой почве, резко накренились, того и гляди сойдут с дорожной колеи.

С большим трудом автопоезд вполз на мост. Задрожал, заходил ходуном дощатый настил под тяжестью машины.

Но самое страшное началось дальше, на подъеме. Первая попытка взять его с разбега не удалась. Вторая тоже. Пришлось отцепить задний прицеп.

Взревела машина, рванувшись вверх, и сразу же замедлила бег, отягощенная увязшим в грязи первым прицепом. Но все же не остановилась, медленно выползла на твердый грунт. Затем с помощью троса Ушмудин выволок на безопасное место второй прицеп. С большим трудом удалось накинуть дышло на кольцо, чтобы соединить прицепы. И вот автопоезд в полном порядке. Можно трогаться в путь...

Во время нашей беседы я напомнил Семену Ивановичу об этом рейсе:

— Не каждому дано такой подъем одолеть!

А он только рукой махнул:

— Да что вы! Бывает куда труднее,— и торопливо поднялся из-за стола.— Заговорились мы с вами. Подоспело время в новый рейс отправляться...

ПРАВО НА КРЫЛЬЯ



Ты пришел с победой.
Расскажи, поведай,
Как ты в небе бился
Яростно с врагом,
Как подбил над хатой
«Мессершмитт» проклятый —
Загудела степь кругом!
Вспомни про сраженье,
Схватку фронтовую
За Кубань — советскую реку,
Про любовь, про дружбу,
Про большую службу
В нашем штурмовом полку.

Из песни,
сложенной на фронте летчиком
Иваном Арсентьевым-Чернецом

Чем дальше в прошлое уходит война, тем чаще вспоминаются друзья фронтовых лет. Заметно поредели их ряды. Одни ушли из жизни в огневые годы. Другие — совсем недавно. Время дает о себе знать. Старые раны, полученные на полях сражений, не так-то просто залечиваются.

Герой Советского Союза, бывший летчик-штурмовик, а ныне московский писатель Иван Арсентьев (Арсентьев — это его литературный псевдоним, фронтовым же друзьям он известен как Иван Арсентьевич Чернец) хорошо помнит тех, кто вместе с ним служил в 7-м гвардейском ордена Ленина Краснознаменном штурмовом авиационном полку, и в дни праздников не забывает каждому из них послать поздравительную открытку.

Работая над документальной книгой о летчиках-штурмовиках, Иван Арсентьевич то и дело в мыслях возвращался в боевое прошлое, записывал в тетрадь наиболее важные и интересные эпизоды фронтовой жизни. Но разве память одного человека в состоянии удержать весь ратный путь родного авиаполка, все героические страницы его замечательной летописи?!

«Надо бы встретиться с летчиками,— решил писатель,— крылом к крылу с которыми летал когда-то на Ил-2...»

Иван Арсентьевич достал блокнот, где были записаны адреса ветеранов авиаполка. Взгляд его сразу же остановился на фамилии Зангиева. Ну, конечно же, первым делом следует отправиться к нему, старому фронтовому другу! Владимир Сосланович Зангиев, уйдя из армии в запас, был избран председателем организации ДОСААФ Северной Осетии.

Давненько они не виделись. Все дела, дела, дела... Письма, правда, писать не забывали. Да разве в письмах расскажешь обо всем прожитом и пережитом! А ведь сколько воды с тех пор утекло. Встретятся и не узнают, поди, друг друга.

Иван Арсентьевич представил коренастую, крепкую фигуру своего степенного, немногословного друга, его широкое, обожженное пламенем лицо. Вспомнился блеск черных, как угли, глаз, точно таких, как и у его отца, старого осетина, прошедшего нелегкую школу жизни.

Там, вдали от Москвы, у гор Осетии, где родился и где поныне работает Зангиев, провели они, два друга-летчика, свою первую победную штурмовку. Именно там написал тогда Иван Арсентьевич свою песню про штурмовой полк и посвятил ее Владимиру Зангиеву.

Как давно это было! А кажется — вчера...

...Из Пятигорска до Орджоникидзе Арсентьев ехал в автобусе, размышляя в пути — в который уже раз! — о военной судьбе Зангиева.

Говорят, что в авиации случается подчас самое невероятное, но то, что произошло с Зангиевым, мало кому довелось испытать.

Осень 1942 года. Северная Осетия. Сколько прошло с тех пор времени, а запечатленная в памяти Ивана Арсентьевича извилистая линия «БС» — боевого соприкосновения наших и фашистских войск не исчезает. Закроет глаза и видит окопы, замаскированные укрепления, всплески зенитных залпов и клубы дыма рядом с самолетом.

Не стираются в памяти названия населенных пунктов: Эльхотово, Беслан, Чикола, Дигора, Алагир... Не стираются, должно быть, потому, что возле каждого из них тяжкой осенью 42 года погиб кто-то из боевых товарищей.

Немцы рвались тогда на Кавказ через Крестовый перевал. Гитлеровское командование бросало в бой один за другим отборнейшие егерские полки дивизии «Эдельвейс». Мало кто из тех фашистских егерей остался в живых.

Иван Арсентьевич помнил, что Владимир Зангиев родился в Алагире. И сейчас там, как он сообщил в одном из писем, живет его родня. Надо же случиться такому: в ноябре 1942 года не где-нибудь, а над родным селом в самолет лейтенанта Зангиева угодил вражеский снаряд. Самолет загорелся. Летчик в горящем комбинезоне выбросился с парашютом и, истекая кровью, в беспамятстве попал в руки немцев. Лежал с перебитой ногой в подвале. Его пытали. Заставляли подписать предательское обращение к осетинскому народу с призывом переходить на сторону Гитлера. Такая подпись, по расчетам фашистских прихвостней, должна была придать особый вес обращению. Еще бы — известный летчик перешел на сторону захватчиков!

Но враг просчитался. Не удалось сломить волю стойкого коммуниста Зангиева. Он плюнул в лицо изменникам, и его поволокли на казнь.

К виселице сгоняли для устрашения жителей Алагира. Истерзанного, потерявшего сознание летчика притащили к месту казни, привязав к хвосту лошади.

И тут над Алагиром неожиданно появилась группа советских штурмовиков. Заметив скопление людей, ведущий сделал заход на штурмовку. Немцы бросились врассыпную, стали прятаться кто куда, оставив раненого у виселицы.

Два деревенских мальчика — смельчаки каких поискать! — проворно стащили связанного летчика в находившийся рядом противотанковый ров и поволокли ко двору тетки Зангиева.

Десять дней пролежал Владимир в сарае. Женщины лечили его как могли. На одиннадцатый день изменник-полицай выдал летчика. В числе других военнопленных эшелон увез Зангиева в Славутский лагерь.

Пленный русский врач вылечил летчика. Летом 1943 года Зангиев совершил дерзкий побег из лагеря смерти. Долго шел лесами на север, пока не оказался в районе действия партизан. Воевал бойцом, затем политруком роты. Хорошо воевал. Но об этом Иван Арсентьевич узнал лишь осенью 1944 года, когда был уже в Польше.

Как-то утром после боевого вылета Иван Арсентьевич шел в столовую. Узкая тропинка от КП виляла среди зарослей конопли. Вдруг на повороте показался человек.

Иван Арсентьевич, занятый своими мыслями, посторонился. Но тот сам загородил дорогу и сказал с обидой:

— Ай, Вано, не признаешь своих?

Лицо и руки человека, опаленные огнем и покрытые рубцами, были не лучше, чем у Ивана Арсентьевича. Мудрено было узнать во встречном лейтенанта Зангиева, погибшего, как считали летчики, два года тому назад у них на глазах. Разве что голос с чуть приметной кавказской картавинкой да черные глаза остались прежними.

В тот день Владимир сказал другу:

— Знаешь, Вано, даже в дни страшного плена я внушал себе мысль — если буду летать с тем летчиком, которого увижу первым по возвращении к своим, значит, буду жить и летать долго. Так что бери меня в свою эскадрилью!

Так и провоевали они вместе до конца войны без происшествий. Правда, самолет Владимира однажды снова подбили, и он совершил вынужденную посадку уже на территории Германии. Но все обошлось благополучно — добрался до своих.

Потом судьба раскидала друзей в разные концы страны, и они больше не встречались. Майор Зангиев, числясь в запасе, окончил специальное учебное заведение. Из воздушного джигита превратился в солидного хозяйственника, стал заместителем управляющего трестом.

И все же крепкая военная косточка, боевая закалка и многолетняя привычка к армейской жизни взяли свое. Теперь он готовит кадры для нашей армии, авиации, флота.

«Интересно, как это у него получается?» — думал Иван Арсентьевич, проезжая через знакомое ему с фронтовых лет осетинское село Алагир. И снова упрямая память возвращала его в далекое прошлое. Как-то по-особому волновала эта поездка по мирной осетинской земле, где прошла его фронтовая молодость.

В Орджоникидзе раздобыл в справочной на автовокзале адрес ДОСААФ. Направился туда. Как на грех, Зангиева там не застал: председатель Общества только что отбыл в один из клубов, а вот в какой именно — сказать не смогли. Ведь в его ведении большое хозяйство: аэроклуб, автошкола, радиоклуб и разные курсы.

Молоденький работник правления не без хвастовства сообщил, что председатель у них — что надо, на все руки мастер: стреляет без промаха, водит автомобиль по первому классу, летает как инструктор. Такая лестная характеристика глубоко порадовала Ивана Арсентьевича.

В военную авиацию они пришли с Владимиром разными дорогами. Зангиев — из гражданского воздушного флота, закончив до войны Батайское авиаучилище. Арсентьев — из аэроклуба Осоавиахима. Хотя он, восемнадцатилетний парень, и учился в Одесском мореходном училище, но его неодолимо тянуло в небо. Отчего это? Разве для юноши в море меньше романтики? Вероятно, причина была в ином — большинство его одноклассников стремилось к летному делу. И Иван решил не отставать от них. Может, то был юношеский задор: «Если они могут, почему не смогу я?».

Иван Арсентьевич всегда с нежностью вспоминает ребят из Одесского аэроклуба. Одновременно он занимался и в мореходном училище. Приходилось скрывать от факультетского начальства свои увлечения. Ведь кроме изучения сопромата, теоретической механики и деталей машин приходилось осваивать вечерами материальную часть самолета и мотора, штурманское дело, теорию полета, да

еще успевать летать на учебном самолете. Время было расписано по минутам, и все же он умудрялся порой забежать еще и на танцплощадку в парк имени Тараса Шевченко.

Осоавиахим подготовил десятки тысяч будущих воинов. Среди его работников было много энтузиастов, трудившихся на общественных началах инструкторами, преподавателями.

Любой летчик помнит своего первого инструктора. Не забыл и Иван Арсентьевич человека, научившего его летать на самолете По-2. Очень серьезный был инструктор, носивший фамилию Гулящев. Фамилия эта совершенно не соответствовала его характеру. Гулящеву было не до гуляния — по вечерам он работал на заводе, а с шести утра возился с аэроклубовскими новичками на аэродроме. К сожалению, этот замечательный человек погиб трагически. С моря, как это часто случается на юге, внезапно налетел ураган. Гулящев с курсантом находился в зоне высшего пилотажа. В то время радио на самолетах не было, штормовое предупреждение передать нечем. При ветре более чем в сто пятьдесят километров в час Гулящев сумел все-таки посадить самолет, но его опять подбросило порывом, перевернуло самолет вверх колесами.

Он умирал, когда Иван с курсантами уже спешили на помощь инструктору. У него оказался сломанным позвоночник.

Ветер валил ребят с ног, но они стояли, закрывая отважного летчика своими телами.

Навсегда запомнились его последние слова:

— Летайте без меня, чиграши! Летайте, слышите? — Он с трудом улыбнулся, выдохнул: — Смех и только...

Ученики выполнили его наказ.

Могучей силой обладают люди, которые служат своему делу так же горячо и преданно, как Гулящев.

Иван Арсентьевич чувствовал себя гордым и счастливым оттого, что путевку в небо дал ему такой храбрый и опытный инструктор. Ведь не важно — это скажет любой летчик,— на каком самолете ты летаешь, главное — как ты летаешь. Не важно, из чего ты стреляешь, главное — не промахнуться.

Интересно было узнать, на что способно нынешнее поколение досаафовцев. Вот об этом и думал Иван

Арсентьевич, разыскивая в городе своего дружка. Колесил по улицам, удивлялся: как только успевает его бывший однополчанин управляться с такой большой организацией, объекты которой разбросаны по всему Орджоникидзе?

Автобус приближался к городской окраине. Слева чернел лес, где молодой Зангиев давал когда-то клятву верности Родине, клятву преданности партии.

Машина, натужно урча, взбиралась вверх. Внизу — горная речка, а за ней уступом дыбилась высокая гора, казавшаяся позолоченной. Это увядающие листья чинар, покрывшие склоны, отсвечивали на солнце червонным золотом.

Машина остановилась у белопенного водопада.

Шумел горный поток. Шофер зачерпнул ведром воду для радиатора и, насвистывая, направился к машине.

Кругом мир и покой. А Ивана Арсентьевича память по-прежнему уносила в суровый ноябрь сорок второго...

В авиаполку было два бывших осоавиахимовца. Опытные летчики — Михаил Ворожбиев и Василий Емельяненко. Оба до войны работали в учебно-летном отделе Николаевского аэроклуба. Когда услышали о вероломном нападении фашистов, сразу же подали рапорты с требованием отправить их в боевой полк: «Мы выпустили много летчиков, теперь нам самим пора на фронт».

В ответ начальник аэроклуба сурово сдвинул брови:

— Сбежать от трудностей хотите?!

Он долго отчитывал своих помощников. Но не прошло и недели, как и он сам отбыл на военный аэродром, а вслед за ним Ворожбиева и Емельяненко направили в учебно-тренировочный авиационный полк учиться летать на боевых самолетах.

Немцы подходили к Николаеву, когда в УТАП, находившийся в Донбассе, пришел приказ направить летчика, который смог бы перегнать самолет, брошенный за городом у железнодорожной станции. Кого послать? Остановились на бывшем работнике аэроклуба Василии Емельяненко.

Ворожбиев наказал отъезжавшему: «Посмотри, как там моя семья? Помоги жене и детям, если возникнет нужда».

На восточной окраине Николаева Емельяненко осматривал самолет, а на западной, за Бугом, стреляли

немцы. В городе шла спешная эвакуация. Емельяненко прибежал на квартиру Ворожбиева, подхватил ребят, кое-какие вещички и — к эшелону.

У поезда не протолкнуться. Через раскрытое окно передал в вагон детей, а потом помог и супруге Ворожбиева протиснуться в тамбур. Отправил семью друга в тыл, а сам улетел в часть.

Некоторое время спустя Михаилу Ворожбиеву довелось сражаться в небе над горами Кавказа. Осколком снаряда повредило глаз. Самолет был подбит, но все же летчик посадил свой штурмовик на фюзеляж в чернолесье. Перевязал кое-как рану, пошел на восток, к линии фронта.

Трое суток пробирался горами, превозмогая мучительную боль. Наконец стала слышна частая стрельба. Значит, передовая близко. И тут среди бела дня нос к носу столкнулся с немецким дозорным. Пистолетом Ворожбиев пользоваться не стал — он просто задушил фашистского солдата. Забросил его автомат за плечо, сигареты и документы рассовал по своим карманам и отправился дальше.

Ночью удачно перешел линию фронта и прибыл в полк.

Боевой летчик стал инвалидом. Прощай, авиация! Нет, Михаил Ворожбиев не из таких! Пригодились ему богатый осоавиахимовский опыт, глубокие знания методики подготовки летного состава. Михаилу поручили непосредственно в прифронтовой полосе вводить в строй молодых летчиков, присылаемых из краткосрочных авиашкол. Почти до конца войны занимался он этим делом. «Академия Ворожбиева» работала под самым, что называется, носом у противника...

Обо всем этом вспоминал Иван Арсентьевич по дороге на стрельбище, надеясь отыскать там Зангиева. По сухим отзвукам выстрелов, услышанным издали, определил, что на линии огня человек десять.

Скоро показалось стрельбище. Во время паузы подошел к руководителю, справился о Зангиеве.

— С полчаса уехал в автомотоклуб,— ответил тот.— Это неблизко. У нас как раз машина туда идет. Можем подбросить.

Через час Иван Арсентьевич нашел своего друга.

Зангиев — такой же уравновешенный, но теперь седой, как лунь, лишь густые брови напоминали о былой черноте его непокорных, ершистых волос — узнал Ивана Арсентьевича с первого взгляда, бросился обнимать друга.

Потом они до поздней ночи сидели в небольшой квартире, что находилась в многоэтажном доме в самом центре Орджоникидзе, на улице Джанаева. Разговор шел о фронтовом прошлом, о друзьях-однополчанах.

Иван Арсентьевич, не скрывая своего восхищения другом, рассказал, сколько теплых слов он услышал сегодня, пока колесил по городу, от его товарищей по работе.

— Да что там! — отмахнулся от похвал Зангиев.— Обычная работа. Кстати, и ты, Вано, помогаешь мне воспитывать будущих наших летчиков, автомобилистов, солдат...

— Каким образом?

— Книги твои о войне стали для досаафовцев настольными. Они как учебники боевых летных маневров, как учебники героизма. Особенно вот эта.

И друг достал с полки изрядно потрепанную книгу с точным, выразительным названием — «Суровый воздух».

В книге, изданной в серии «Подвиг», было предисловие. Отрывок из него Зангиев зачитал вслух:

«Право на крылья... Оно не дается человеку, как имя при рождении, его надо завоевать и удержать в постоянных схватках с самим собой, с обстоятельствами — и мелкими, и крупными... Специфика «воздушной профессии» героев повести в какой-то степени диктует писателю и угол зрения на изображаемые события, и сам отбор деталей из множества хранящихся в памяти событий, эпизодов, встреч. Герои «Сурового воздуха» постоянно встречаются со смертью... Идут годы, и приходит время, когда писатель окидывает взором все написанное им. Если мы примем «Суровый воздух» за точку отсчета в творчестве И. Арсентьева, то наверняка обнаружим уже в этой первой повести тот взгляд на взаимоотношения человека и окружающей среды, которой последующими произведениями значительно углубляется и конкретизируется. Человек дееспособен только в коллективе — такова главная мысль повести, такова вообще концепция человека в творчестве И. Арсентьева. Концепция эта продиктована писателю опытом его жизни, святым чувством долга перед те-

ми, кто учил его жить, воевать и побеждать, кто отдал жизнь ради победы. Думается, что долг этот так велик, что не хватит жизни одного человека и сил, отпущенных ему, чтобы выполнить этот долг, но голос писателя, зазвучавший в «Суровом воздухе» и окрепший к сегодняшнему дню, полноправно вливается в летопись великого подвига великого народа».

— Верные, точные слова — и о тебе, Вано, и о книгах твоих,— одобрил Зангиев.— Было б тебе известно, они у меня, повести и романы твои, все вот здесь, на самой почетной книжной полке. Частенько перечитываю. И знаешь — в каждом герое узнаю кого-то из наших общих дружков. Тебя и себя узнаю, хотя фамилии у героев иные... И то зимнее сражение, что наша эскадрилья в горах вела, в «Суровом воздухе» точь-в-точь описано. Помнишь?

— Еще бы не помнить! — ответил Иван Арсентьевич и, морщась, провел пальцем по рубцу над бровью.— На всю жизнь тот бой оставил отметины.

...Случилось это в предгорьях Северного Кавказа. Эскадрилья советских штурмовиков, миновав линию фронта, вырвалась тогда из туч, опустилась почти к самой земле и, рыская то вниз, то вверх между ребристыми холмами, обнаружила в лощине скопление фашистских танков. Один из «илов», пикируя, взял на прицел цистерну бензозаправщика, что стояла среди танков, и ударил по ней из пушек. Цистерна вспыхнула ярким пламенем, и огонь, перекинувшись на соседние танки, вывел их из строя. А потом летчик стал засыпать врага бомбами...

Зангиев без труда отыскал в книге ту страницу, где описывался этот боевой эпизод:

— Я это место наизусть запомнил. А теперь ты, милый Вано, послушай. Сегодня я перед тобой выступаю в роли артиста-чтеца. И начал читать:

«Земля и воздух сотрясались. Ослепительные всплески рвущихся бомб скакали среди танков. Багровая река горящего бензина ползла по мрачному желобу балки. Из-под крыльев штурмовиков с глухими всплесками срывались снаряды. Стиснув зубы, летчики били изо всех стволов. Шквал огня. Еще заход, еще атака. Вдруг совсем близко от крыла машины Черенка взметнулся белый дымок. Машину качнуло. Летчик повернул рули, но было поздно. В кабине ослепительно сверкнуло. Жгучая волна тротила ударила в лицо. Приборная доска поплыла куда-то вверх.

Руки инстинктивно прижались к груди и потянули за собой штурвал. Промелькнуло несколько мгновений. Черенок как во сне провел по глазам рукой. Рука была в крови... Острая, режущая боль пронзила все тело. Невероятным усилием воли он заставил себя открыть глаза. Из правого унта хлынула кровь. Морщась от боли, летчик ощупал ногу. Кость была перебита... Морозный воздух вихрем врывался в разбитую форточку кабины. Брызги крови, попадая на приборы, покрывали их темной пленкой. Тело, словно сжатое железными оковами, слабло. Руки цепенели... До земли оставались считанные метры. Черенок выровнял машину, потянул на себя штурвал и в тот же миг от острой боли потерял сознание. Никем не управляемая машина падала на землю...»

Закончив чтение, Зангиев сказал:

— Это ты, Вано, про себя написал. А ведь и со мной то же самое случилось. Чуть концы не отдал. Живучие мы с тобой люди — ни в небе не сгораем, ни в воде не тонем! Ну, а когда нас на земле не станет, память добрую о себе в сердцах людей оставим. Она, наша военная память, в твоих строках долго жить будет.— И он поставил книгу на полку.— Нас с тобой в юности Осоавиахим в люди вывел, а теперь вот сыновей и внуков наших ДОСААФ готовит к подвигу. Выходит, Вано, одним мы с тобой делом заняты — воспитываем новое поколение советских патриотов: ты — на литературном поприще, а я — в добровольном Обществе.

Об этой встрече двух фронтовых друзей я узнал от самого Зангиева. Узнал не в Орджоникидзе, а в Москве, куда он был вызван на ответственное совещание активистов ДОСААФ. О себе он ничего не рассказывал — боевую биографию Зангиева я слышал от его однополчан. Зато много и взволнованно говорил о гвардейцах родного авиаполка, с любовью вспоминал подвиги и книги своего лучшего фронтового друга Ивана Арсентьевича, который с эскадрильей проделал славный ратный путь от Кавказских гор до Берлина.

Я тоже был целиком согласен с той высокой оценкой, которую дал книгам Арсентьева Зангиев. Автор «Сурового воздуха» увлек меня взволнованным и правдивым показом боевых будней и быта военных летчиков, осво-

бождавших Северный Кавказ от фашистских захватчиков, увлек умением воспроизводить воздушные схватки — а их множество в повести — каждый раз по-новому, своеобразно и неожиданно.

Верилось, что не только герою повести летчику-штурмовику Черенку, а ему самому, писателю Ивану Арсентьеву, довелось однажды вести пылающий самолет к цели, удерживая из последних сил ручку управления обожженными руками. Верилось, что и другой герой повести — летчик Оленин, вступивший в смертельную схватку с эскадрильей «юнкерсов», пережил то же самое, что и автор книги,— отчаянно дрался с врагом, пока не загорелся его самолет, и летчику пришлось под градом фашистских бомб спускаться на парашюте на землю. И, конечно же, только непосредственный участник событий мог с такой художественной убедительностью изобразить, как полыхает самолет, подбитый зениткой, и как пилот, объятый пламенем, сажает самолет на поле, чтобы спасти раненого стрелка, который уже не мог прыгать с парашютом.

С автором «Сурового воздуха» я познакомился в тот самый год, когда книга его только что вышла из печати. Произошла эта встреча в Москве на Третьем Всесоюзном совещании молодых писателей. Иван Арсентьев оказался старше большинства из нас, авторов первых книжек. За его плечами была серьезная школа жизни: еще в предвоенное время он плавал матросом на рыболовецком траулере по северным морям, строил корабли на Николаевской верфи. Когда фашистские полчища напали на нашу Родину, он стал летчиком. Служил в истребительной авиации, командовал эскадрильей штурмовиков. Бился с врагом на Кавказе и Дону, в Керчи и Севастополе, не раз выходил победителем из воздушных поединков над городами гитлеровской Германии.

Однажды его штурмовик был сбит, и летчику пришлось тринадцать дней и ночей ползти по вражеской территории, пробираться в расположение наших войск. И он возвратился в родную часть. Залечив раны, снова поднялся в воздух, продолжал до победного конца громить фашистов. Более полутораста вылетов на его боевом счету — полутораста встреч со смертью. И вот

Михаил Иванович Калинин прикрепляет к его груди Золотую Звезду Героя Советского Союза.

Тогда, в дни наших первых встреч на писательском совещании, я не расспрашивал Ивана Арсентьевича, за какой подвиг досталась эта высокая награда. Я уже знал об этом. Знал по рассказам его однополчан. Знал из его повести. И когда я видел, как он, прихрамывая, ходил по комнате, и когда смотрел на его обожженные пальцы, которыми он лихо барабанил по клавишам рояля, задорно напевая припев сочиненной им на фронте песни: «Эх, крепки друзья-фронтовики! С «мессершмиттом» справится любой...», и когда разглядывал старый шрам, перечеркнувший надбровье.

Нестираемые пометки войны... У каждой из них своя история, рожденная в боях, в суровом воздухе сражений. Уже по одним этим давним фронтовым зарубкам на теле можно было представить, кому из героев своей первой повести автор отдал частицу собственной боевой биографии.

Помимо «Сурового воздуха» Иван Арсентьев создал еще десять повестей и романов. И в каждом из произведений живут, сражаются, работают люди, близкие ему по духу.

После войны, сменив летную форму на рабочую спецовку, Иван Арсентьевич несколько лет трудился на куйбышевском подшипниковом заводе, был старшим мастером смены. О своих заводских друзьях-товарищах писатель рассказал в повести «Трудное счастье», выпущенной издательством «Молодая гвардия». Главное действующее лицо повести — майор Базанов, бывший командир батальона десантников, имя которого «было известно даже в ставке Гитлера». После войны он назначается на пост начальника цеха большого завода, проявляет и тут свой боевой характер, фронтовую выучку. Автор убедительно доказывает, что рабочему коллективу присущи смелость, стойкость, творческий энтузиазм, все то, что было свойственно фронтовикам.

Тяга к изображению сильного, волевого характера видна и в последующих произведениях Ивана Арсентьева. В повести «Еще не гремели салюты», возвращающей нас к незабываемым годам войны с фашизмом, таким героем является Алексей Одинцов, летчик штурмовой авиации. На этот раз бывший летчик становится колхозным

механизатором и в мирной жизни продолжает действовать настойчиво и решительно.

Пожалуй, самым значительным произведением И. Арсентьева стал роман «Кровавый крест». Действие его развивается в самом начале Великой Отечественной войны. Изображая массовый героизм советского народа, писатель рисует людей идейно закаленных и бесстрашных, бескорыстных тружеников войны.

Роман был тепло принят читателем и критикой, и автор вдохновенно продолжил повествование. Недавно он завершил работу над второй книгой этого романа. В издательстве «Современник» вышла его новая повесть о летчиках — «Обратный штопор». Чтобы нарисовать правдивую картину летного труда, писателю пришлось не просто наблюдать за работой летчиков реактивной авиации, жить в военном городке, но и самому упражняться в кабине современного тренажера, самому подниматься в воздух на самолетах, на которых прежде ему летать не доводилось.

О том, как собирался материал для новой книги, о дружбе писателя с молодыми авиаторами, которые по возрасту годятся ему в сыновья, увлекательно рассказывается в документальном телевизионном фильме «Право на крылья», где главным действующим лицом выступает бывший летчик-капитан, а ныне известный советский писатель Иван Арсентьев. Мы видим его и на взлетной полосе, откуда одна за другой взмывают в небо боевые машины, и на собрании летчиков во время разбора ошибок, допущенных молодыми пилотами в учебном полете, и в семье своих новых друзей — летчиков.

Кадры, взятые из военной кинохроники, воскрешают былое, рисуют подвиг летчика, который однажды с риском для жизни, разбомбив вражеские танки, повел пылающий самолет на посадку и, когда до земли осталось всего несколько метров, потерял сознание...

Да, то, что описано в повести «Суровый воздух», случилось когда-то с самим автором. Самолет тогда упал на землю, и все считали летчика погибшим. Но случилось чудо — его, окровавленного, подобрали крестьяне. Они выходили пилота, и он снова стал летать.

Телевизионный фильм показал нам и продолжение этой истории — счастливую встречу бывшего летчика Ивана Арсентьевича со своей спасительницей, колхозницей

Евдокией Семеновной Бочаровой, которая вместе со своим односельчанином Александром Ивановичем Чергиным и мальчиком Федей обнаружила когда-то близ станицы Советской обгоревшего советского летчика. На всю жизнь сохранил писатель сердечную благодарность к этим людям...

Человек непоседливый и горячий, охочий до любого живого дела, Иван Арсентьевич часто покидает свою московскую квартиру и уезжает куда-нибудь подальше от столичных мест: либо в глухую таежную деревушку, либо на Северный Кавказ, где живут его фронтовые друзья, либо к волжским берегам. Он подолгу работает там, собирая материал для новых книг. И эти встречи с жизнью, с современниками всегда волнуют его, дарят ему крылья для нового большого полета, для творчества.

СОЛДАТСКАЯ ШИНЕЛЬ



Эх, суконная, казенная,
Военная шинель,
У костра в лесу прожженная,
Отменная шинель,
Знаменитая, пробитая
В бою огнем врага
Да своей рукой зашитая,
Кому не дорога!

Из песни военных лет

На строительном участке Аркадия Казанцева все добродушно звали Воробышком. Так окрестил его Медведев, тоже водитель самосвала.

Как-то на производственном собрании Казанцев критиковал сторожа деда Силантия, который из-за своей

неповоротливости не успевал вовремя открывать ворота, и шоферам приходилось долго ждать.

— Стоишь с машиной, гудишь, гудишь, а дед Силантий хоть бы хны,— говорил Казанцев, ероша и без того взлохмаченные волосы.— А на дворе-то мороз. Закоченеешь чего доброго, как серый воробышек...

В зале засмеялись, а Медведев заметил:

— А Казанцев-то и впрямь на воробышка смахивает!

Невысокий, взъерошенный, в большой, не по росту, потрепанной солдатской шинели, паренек и правда походил на озябшего воробья. И, выступая, он то и дело махал руками, словно собирался взлететь.

С той поры и пошло — Воробышек да Воробышек. На участке в основном работали пожилые, видавшие виды шоферы, а Казанцев принадлежал к разряду зеленых, «необкатанных», как выражались водители. Но еще со школьных лет он увлекался мотоциклетным спортом, участвовал в гонках. Однажды даже стал чемпионом стройки. Его портрет был напечатан на четвертой полосе многотиражки «Гидростроитель». Аркадий на снимке был изображен в полный рост с кубком в руках. Кубок был виден отчетливо, а вот на лице Аркадия разглядеть можно было лишь правый глаз и правую щеку. Левую часть лица загораживал кубок, горделиво поднятый победителем.

Победа в соревновании далась тогда очень трудно. Мчаться пришлось через бугры и овраги по пересеченной местности. Мотоциклы один за другим буксовали, сползали вниз на оледенелом подъеме за лесом. Не решаясь брать каверзную высоту, спортсмены объезжали ее стороной, затрачивая на это драгоценные минуты. И лишь Аркадий Казанцев не растерялся: заметив на взгорье под снегом кучу строительного песка, он рассыпал его по склону горы и с ходу преодолел препятствие, пришел к финишу первым. Смекалка помогла!

Аркадия уважали на стройке. Одно удивляло шоферов — его странная привязанность к старой солдатской шинели, каких давно уже, со времен последней войны, никто не носит.

— На кой леший тебе сдалась эта допотопная хламида? — допытывался язвительный Медведев.— Надеть нечего? Каждому шоферу фуфаечка дана — теплая, ладная, голубая. Их весь гараж носит. Твоя шинель просто тоску наводит на общество шоферов. Уж не влюблен ли,

случаем, в нее? Запомни: шинель — женского рода. Натрет тебе шею грубошерстная!

Казанцев все отмалчивался, но однажды сказал:

— Шинель у меня особенная, след от пули имеется.

— Выходит, раненая? Так-так! А к ордену, случаем, ее не представили? — захохотал Медведев.— А ну-ка, Воробышек, покажи.

Казанцеву ничего не осталось, как показать полу шинели. Медведев с любопытством ковырнул пальцем маленькую, едва заметную дырку:

— Стреляный воробей! — усмехнулся он и в недоумении добавил: — Пороху ты, кажись, не нюхал, в армии не служил, а шинель чью-то треплешь.

— От отца осталась. Фронтовая,— пояснил Казанцев.— Командир матери привез, на память...

После этого о шинели никто больше не говорил. И прозвище «Воробышек» позабылось.

Стремительно наступающая весна прибавила шоферам работенки. Казанцев с Медведевым возили по льду щебень. Его ссыпали на отлогом левом берегу, где строители спешили поставить до паводка опоры для высоковольтной линии. На стройку прибыли новые землеройные машины и ждали электротока.

Лед у берегов уже подтаял. Езду через реку прекратили. Но, как на грех, не хватило щебенки для последней опоры.

— И нужно-то сущий пустяк,— сокрушался прораб.— Одной машины хватило бы. Да разве теперь по реке проедешь! Вон как развезло...

Казанцев промолчал, только вздохнул. А под вечер, когда все закончили работу, он подошел к прорабу:

— Одной машины щебенки, говоришь, хватит?

И повел свой самосвал по льду.

На тот берег Казанцев добрался довольно легко. Он промчал порожнюю машину на полной скорости — так было безопаснее. Но на обратном пути, с пятитонным грузом в кузове, пришлось туго. Всюду блестели, расползаясь в разные стороны, огромные лужи. Дорогу совсем залило.

Сжимая в руках баранку, Казанцев почти вплотную приник к смотровому стеклу. Настороженным глазом он прощупывал дорогу, открыл на всякий случай дверцу кабины.

Наконец впереди зачернел берег. Казанцев стиснул зубы: «Уж теперь-то выберусь!».

Когда на полном газу передние колеса коснулись земли и опасность, казалось, миновала, машина дрогнула и подалась назад. Задние колеса сползли на лед. Шофер порывисто дернул рычаг, переключая скорость. Застонал в напряжении мотор. Рывок. Но все напрасно. Задние колеса на льду крутились впустую, высоко расплескивая вокруг холодные брызги.

Казанцев выпрыгнул из кабины и очутился по пояс в ледяной воде. Валенки мгновенно отяжелели, набухли. Парень чувствовал, как лед под самосвалом оседает, опускается все ниже, выдавливая из-под себя родники.

Что делать? Вывалить груз? Нет! Не за тем ехал, рисковал!

И тут Аркадий вспомнил случай, который произошел с ним на мотогонках. Тогда его спас песок, рассыпанный на взгорье. Без него не взять бы высоты, не сдержать скольжения. А что если попробовать... Он схватил лопату и стал подбрасывать под колеса щебенку.

Снова взвыл мотор. Машина — ни с места! Задние колеса отшвырнули весь щебень и опять забуксовали на льду под водой.

Казанцев снова выскочил из кабины. Откинул полы промокшей шинели, и они стали твердеть под ветром.

Казанцев сорвал с себя шинель, быстро разостлал ее перед колесами и засыпал щебенкой. Бросился в кабину. Машина задрожала, забилась в рывках. Наконец, тронулась и с трудом выползла на берег.

Смахнув пот со лба, Казанцев вышел из кабины и вернулся, чтобы подобрать шинель. В это время за спиной остановился самосвал Медведева.

— Воробышек! Жив? Что ж ты меня не предупредил? Там уже паника в гараже! — весело закричал Медведев и осекся. Потом спросил вполголоса:— А шинель-то где?

Казанцев смотрел на воду. Там, где только что буксовал его самосвал, струилась широкая темная полоса речного течения.

— Поедем! — сказал Казанцев.

Медведев согласно кивнул и предложил Воробышку:

— Ты, Аркадий, валенки сбрось. Застудишься. Надень мои, я в носках доеду.

ОТЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР



Выйдем старшим на смену,
Ордена мы заслужим трудом,
Лишь значок комсомольский
Никогда не надеть нам потом.
Ты свети, наша слава,
Ты свети на широкой груди,
А с годами по праву
К сыновьям, дочерям перейди.

Из комсомольской песни

Отец приходил с работы поздно. Сбрасывал с широких плеч пиджак, вешал его на гвоздь в углу кухни и шел на крыльцо умываться. Мать, гремя тарелками, торопливо готовила ужин.

За стол сначала садился сам глава семьи — кряжистый, сильный, густобровый. Затем его сыновья: Ваня, Ми-

ша, Коля и трехлетний бутуз Васька — один другого меньше. Каждый знал свое место.

Старшего — семиклассника Ваню — отец сажал рядом:

— Ты, можно сказать, первый мне заместитель.

Ваня гордился таким почетом и старался вести себя за столом так же, как отец: ел неторопливо, не разговаривал, не смотрел по сторонам. Хотя, если честно признаться, его всегда подмывало расспросить отца о делах на кузне — там каждый день, наверное, происходит что-нибудь интересное. Но Степан Николаевич и после ужина был не особенно словоохотлив. Лишь иногда, закурив перед сном папиросу, обмолвится двумя-тремя фразами с матерью или же, если заглянет к нему ненароком старый приятель, вспомнит о товарищах фронтовых. О себе говорить не любил. А ведь Ваня знал, что отец шофером был на фронте, через всю войну прошел. Так неужели нечего вспомнить?

В Первомайский праздник по настоянию председателя колхоза отец прикрепил к лацкану нового пиджака боевые награды. И Ваня то и дело поглядывал на отцовскую грудь, но, к его огорчению, на другой день медалей уже не было.

— Подумают — хвастаюсь,— сказал отец.

Ваня выведал, где хранятся медали, и тайком открыл ящик стола. Долго рассматривал блестящие кружочки, прицепленные к красивым ленточкам. Особенно понравилась одна медаль.

За какой подвиг получил отец такую награду, Ваня не знал. А так хотелось узнать...

Помог сосед, бывший фронтовик. Он сказал Ване, что отец спас автоколонну с боеприпасами от неминуемого пожара.

— Дело было так,— пояснил сосед.— Вспыхнула автомашина. Огонь мог свободно перекинуться на другие грузовики. Вокруг пламя, взрывы. Фашистские самолеты летают над самой землей и поливают людей свинцом. А твой отец выбежал из укрытия, сел в кабину горящего грузовика и откатил его прочь. Чуть замешкайся он — машина бы взорвалась. На волоске от смерти был, но не побоялся.

Услыхав такое, Ваня сильнее прежнего зауважал отца. А вскоре зачастил во двор сельской пожарной команды. Там обучали пионеров обращению с огнетушителем

и противогазом. Вместе с пожарниками тянул Ваня по земле тяжелый шланг с упругой струей воды и лихо взбирался по отвесной лестнице на чердак высоченного дома. Начальник пожарной команды за старание и сноровку преподнес в подарок своему юному помощнику новенькие гантели. Проснувшись спозаранок, Ваня первым делом брался за спортивные гантели, чтобы набраться побольше сил. Он ощущал, как с каждым днем прибавлялось твердости в мускулах. И когда на площади, за пожарной вышкой, сельские спортсмены начинали тренироваться на турнике, то ловчее Вани никого не было. Он неизменно выходил победителем.

Задумал Ваня побороть одну свою слабость. С детских лет он боялся темноты. Его охватывал страх, когда оставался один в ночи. Чтобы избавиться от этого страха, он придумал сам себе испытание: до рассвета просидеть вдали от села в степи, на заброшенной вышке. Было страшно. Ночная степь полна таинственных звуков и шорохов. Из темноты, пронзительно вскрикнув, выпорхнула большая птица. Неподалеку мелькнули огоньки. Неужели глаза волка?!

Под утро, когда Ваня пришел домой, отец хмуро спросил:

— Где это ты пропадал?

Ване пришлось признаться.

— Дурная твоя голова. Мы тут с ног сбились, тебя искали. Кто же так воспитывает характер? Смотрите, мол, люди добрые, какой я неустрашимый! Подвиги совершаются ради какой-то большой цели, а не просто так...

Запомнились Ване отцовские слова, и в душе укрепилось давнее желание: пойти после школы в военное училище. Но желающих попасть в авиашколу оказалось очень много. Не прошел по конкурсу. Поступил в профессионально-техническое училище. Стал каменщиком. Вначале жалел о несбывшейся мечте, но мало-помалу привык. И постепенно понравилась Ване его специальность.

Радовало Ваню и то, что в городе был Дворец спорта. Там работали разные секции. Он записался в гимнастическую и чуть ли ни каждый вечер бегал на занятия.

Дело у него ладилось.

— Из молодых да ранний! — не без гордости оценил его спортивное мастерство бригадир Гавриил Андреевич

Золотухин, побывав однажды во Дворце спорта на тренировках гимнастов.

Все говорят, что внешне Ваня похож на отца — так же угловат в движениях, такие же густые брови, буйные черные волосы выбиваются из-под шапки. И сильные, крепкие, как у кузнеца, руки.

Но на отца хотелось походить не только внешне...

Как-то ночью ударил мороз, выпал снег, и все вокруг преобразилось. Свежесть бодрила, может быть, поэтому трудовое утро Иван и его товарищи начали с праздничным настроением.

Каменщикам не терпелось поскорее закончить кладку первого этажа. Они взяли обязательство завершить эти работы к Октябрьскому празднику. Вот и спешили. Ничто, казалось, не могло помешать им. Вчера, правда, не хватило раствора, но сегодня ввели в действие новый растворный узел, так что дело пойдет!

В самый разгар работы подошел Гавриил Андреевич и мрачно сообщил:

— Стоять придется. Раствора больше не ждите.

— Это почему же?

— Новая котельная отказала. Тяги нет, в помещениях — дымище.

— Дымоход нужно прочистить,— посоветовал кто-то.

— Вот в том-то и загвоздка. Внутри трубы, на самом ее верху, остались неубранными леса. Забыли, что ли, их снять строители. Дым отступает назад. Легче всего добраться до верха трубы по внутренней стороне и разломать там дощатый настил. Но топки горят, в трубе — едкий газ. Остается одно: погасить топки. Весь рабочий день пойдет насмарку.

Золотухин с досадой махнул рукой и собрался, было, уходить.

— Гавриил Андреевич... Не нужно гасить. Я полезу с наружной стороны!

Золотухин вернулся, приблизился к Ивану Кононову и окинул его с ног до головы недоверчивым взглядом:

— Что ты, парень? Вон ветрище какой. На земле с ног валит. А высота у трубы, почитай, полсотни метров. Тут и крепкому человеку не совладать. Хвастовство твое ни к чему...

— Да не хвастаюсь вовсе я. Сил у меня хватит. Я же гимнаст! И к высоте приучен. Мне не привыкать.— Ваня

просительно посмотрел на окруживших его товарищей, на Гавриила Андреевича.

Увидев, что тот колеблется, он стал торопливо стягивать с себя рабочий бушлат. Остался в черной гимнастерке — той, что выдали еще в училище. Затем скинул шапку-ушанку, чтоб не мешала.

— Зачем горячишься, Иван? — пытался удержать его кто-то из ребят.— Завтра ветер утихнет — тогда и лезь себе на здоровье.

— Ерунду говоришь,— отрезал каменщик Виктор Силантьев.— Откладывать нельзя. Разрешите мне, Гавриил Андреевич вместо Ивана полезть. Как-никак я постарше.

Гавриил Андреевич заулыбался:

— Герои вы у меня. Только предпочтение, пожалуй, Кононову отдать следует. Он спортсмен и, к тому же, первый вызвался...

Повернулся к Ване:

— А бушлат-то ты зря снял. Морозище градусов тридцать. На вот, рукавицы надень.

Всей бригадой направились к котельной. Здесь Золотухин крепко обвязал Ваню веревкой. Инструменты закрепили за спиной, чтобы не мешали взбираться. Товарищи по бригаде наперебой давали разные советы.

— Ты, не горячись особенно,— напутствовал Ваню Золотухин.— Первым делом веревку не забудь привязать к скобе, когда заберешься. Мало ли что может случиться...

На трубе — железные скобы: их много, и тянутся они до самого верха. В детстве Ивану доводилось взбираться вот так же высоко по пожарной лестнице. Но тогда стояло лето, а сейчас зима, ветер свирепствует. Нелегко будет одолеть высоту.

Ваня все энергичнее работает руками. Мороз забирается за ворот гимнастерки, щиплет щеки. Ветер так и норовит сбросить вниз. Ваня плотно прижимается к скобам. Пройдены первые десятки метров. Позади — половина пути. Кирпичная кладка трубы круто уходит вверх. Краем глаза Ваня видит над собой голубое небо.

Вначале было не страшно. Страх внезапно пришел у самого верха трубы. Всем телом почувствовал Иван, как качается она из стороны в сторону. Даже озноб прошиб. Несколько минут стоял неподвижно, успокаивал сильно бьющееся сердце. Отдышался. Вниз старался не глядеть. Так легче.

Доски, о которых говорил Золотухин, действительно наглухо закрыли отверстие. Отодрать руками — и думать нечего.

Усевшись на край трубы, Ваня привязал себя веревкой к верхней скобе. Снял с пояса топор, осторожно ступил на дощатый настил и стал орудовать топором.

Одна из досок наконец поддалась. Раздался треск, и тотчас клубы черного дыма окутали Ваню, лицо обдало горячим газом. От неожиданности не успел отодвинуться. Перехватило дыхание. Все заплясало, замельтешило перед глазами. Ничего не видно. Уж не ослеп ли?

Чернота в глазах росла, густела, со страшной силой давила на все тело, и, казалось, не было от нее спасения. Внезапно ослабли, подкосились ноги, стало уходить прочь то твердое, на чем стоял, что держало на высоте. Сделал шаг в сторону, чтобы выбраться из чада, и вдруг весь сжался в оцепенении — нога не нашла под собой привычной опоры, оступилась, потянула его в невидимую пропасть.

Веревка на поясе дрогнула и натянулась, как струна. Еще мгновение — и он бы болтался в воздухе!

Дрожащими от напряжения руками торопливо нащупал край трубы. Ступил на верхнюю скобу, потом на другую — ниже. Затем сел, чтобы отдышаться.

Протер кулаками глаза. Чернота поредела, померкла. Вновь стало видно голубое небо, город, уходящий до самого горизонта, и людей внизу. Они суетятся, машут ему руками, что-то кричат. Ветер свистит в ушах. Доносятся лишь обрывки фраз:

— Ух, ты... Вот чертяка!

— Упадешь!..

— Гимнаст, и вдруг упадет...

Тревожатся ребята.

Мороз, должно быть, не ослаб, но Ваня не чувствует холода. Вскинул глаза вверх. Из трубы валит дым, тягучий, медлительный. В этом дыму можно задохнуться. На какой-то миг промелькнула предательская мысль: «Слазь, пока цел!».

«Нет, шалишь,— твердил он себе,— не отступлю!»

Там, внизу, на земле, четыре газовых топки. Они должны пылать весь день, весь месяц, пока дом не будет готов. Сделана лишь маленькая отдушина в дымоходе. Дыму еще трудно выбираться наружу. Мешают доски.

Тяга слабая, и топки не могут гореть в полную силу. Начатое дело нужно закончить!

Во рту — горечь сажи. В глазах — режущая боль от газа. В руках — слабость. Не прислушаться ли к голосам внизу? Ведь он прорубил отверстие. Может, достаточно? Лезть опять в дым опасно: ослепнешь, сорвешься. А как же с топками?

Ваня глубоко вбирает в себя воздух, проверяет: прочно ли держится веревка и, зажмурившись, снова бросается в дымный чад.

Он помнит: долго в дыму находиться нельзя, задохнешься. Поэтому старается работать быстро, без лишних движений.

«Вот отдеру еще одну доску и спущусь»,— решает он.

Отламанная доска летит вниз, но дощатый настил еще держится.

«Нужно его обязательно выломать!» — снова приказывает себе Ваня и берется за топор.

Летит вниз вторая доска, за ней — третья, четвертая. Островок настила под ногами сужается. Ваня вплотную прижат к трубе. Он взбирается на ее край и, держась левой рукой за скобу, правой выламывает последнюю доску.

А дым валит и валит, застилая все вокруг непроницаемой наволочью.

По бокам трубы выступают деревянные балки. Их тоже нужно вырубить. И тогда — дело с концом!

Весь с головы до ног покрытый копотью, Ваня с ожесточением стучит топором по дереву.

Дым пробирается в легкие. Дышать становится все труднее. Голова кружится. Тошнота подступает к горлу. Ваня едва держится на краю трубы. Но продолжает свое дело... Вот и все — последняя балка полетела вниз.

Немного передохнул, обхватив руками скобу. Прикрыл глаза от едкого дыма. Теперь можно спускаться.

Руки и ноги не подчиняются. Ваня напрягает остатки сил, медленно и неуклюже сползает вниз, хватаясь за скобы. Вот она, земля!

Ваня не помнил, как там, внизу, подхватили его на руки друзья — Петр Умнов, Витя Силантьев, не чувствовал их рукопожатий, не слышал, что говорил бригадир... Запомнил только одно — кто-то звонким голосом крикнул из котельной:

— Ребята, раствор пошел! Берите, пока тепленький!

В село Ивановку на имя колхозного кузнеца Степана Николаевича Кононова пришло письмо. Старик всегда радовался весточкам от старшего сына. Но на этот раз Ванино письмо разволновало его по-особенному...

«Молодежная газета,— писал сын,— напечатала снимок того самого здания, которое строит наша бригада. Засняли его потому, что дом растет быстрее, чем записано в плане. И качество высокое. Иначе нельзя — не краснеть же перед жильцами! Они ведь ждут и надеются.

Недавно мне присвоили шестой разряд. Сколько дел! Такое ощущение, что все время на фронте.

Недавно у нас на стройке трудный случай произошел. Я взялся выручить бригаду. Если бы не спортивная закалка, не справиться бы мне. Словом, все обошлось благополучно. Так что, папаня, передайте Ваське, меньшему моему братишке, чтобы он про физзарядку не забывал. Пусть гантели, что я на чердаке в корзине спрятал, себе забирает и тренируется каждый день. Это ему пригодится в жизни. По себе знаю...»

Письмо Степан Николаевич прочитал вечером вслух всему семейству. И, окинув детей горделивым взглядом, сказал малышу Васятке:

— Вон ведь на какую высоту поднимается братишка твой Ванька. Верный курс держит! Отцовский характер. Да-а...

«ШТУРМОВАТЬ ДАЛЕКО МОРЕ...»



Лейся песня, на просторе,
Не скучай, не плачь, жена:
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна.
Курс на берег невидимый,
Бьется сердце корабля.
Вспоминаю о любимой
У послушного руля.
Буря, ветер, ураганы —
Ты не страшен, океан:
Молодые капитаны
Поведут наш караван.

У судна, которое в августе 1912 года повел к Северному полюсу Георгий Седов, было длинное и несколько необычное название — «Святой мученик Фока». Вот уж кто и впрямь оказался мучеником, так это сам капитан. Сколько невзгод довелось перенести ему, бесстрашному мореплавателю и неукротимому мечтателю!

В Баренцевом море «Святого Фоку» со всех сторон железной хваткой сжали льды. Пришлось Седову с экипажем зимовать на северо-западном берегу Новой Земли. Но и с наступлением лета мороз не снял суровых оков. Лишь осенью смог Георгий Седов вырвать корабль из ледовых тисков, направить его к желанной Земле Франца Иосифа. Однако и на этот раз цель не была достигнута. Невыносимая зимняя стужа остановила корабль в бухте Тихой. На острове не было топлива. Чтобы обогреться, приходилось ломать перегородки в каютах и топить ими печь. Мороз пробирал до костей. Люди недоедали. Свирепствовала цинга. Подкралась болезнь и к самому капитану. Но он и вида не подавал. Более того, неожиданно сообщил команде о намерении вместе с двумя матросами на нартах, запряженных собаками, двинуться напрямую к Северному полюсу.

Перед отъездом Седов составил приказ. За каждым словом приказа видится человек высокого патриотического долга, благородный и скромный. Седов сообщал о том, что, отправляясь к Северному полюсу, они посвящают свой поход Родине, России. «Об этом деле мечтали уже давно великие русские люди...— писал он.— На долю же нас, маленьких людей, выпала большая честь осуществить их мечту... Мне не хочется сказать вам, дорогие спутники, «прощайте», мне хочется сказать вам «до свидания», чтобы снова обнять вас и вместе порадоваться на наш общий успех и вместе же вернуться на Родину... Пусть же этот приказ, пусть, быть может, мое последнее слово послужит вам памятником взаимной дружбы и любви. До свидания, дорогие друзья».

Не довелось Георгию Седову обнять оставшихся на корабле товарищей. В пути страшная болезнь свалила его. Товарищи похоронили любимого капитана на острове Рудольфа, до которого ему оставалось пройти тогда каких-нибудь три версты...

А через двадцать четыре года советские зимовщики, основавшие полярную станцию на этом далеком острове, обнаружили там не только вещи Седова, но и флаг, который он так мечтал своими руками водрузить на полюсе.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» — эти крылатые слова, произнесенные Георгием Седовым, стали де-

визом советских палярников, которые подняли алый флаг над Северным полюсом.

Для нас, мальчишек тридцатых—сороковых годов, имя Седова было овеяно особой романтикой — романтикой дальних странствий, полярных исследований. «Георгий Седов» — так назывался ледокол, за дрейфом которого все мы следили в те годы напряженно, переживая за команду и за ее бесстрашного капитана Константина Бадигина.

Захваченный в 1937 году в плен льдами моря Лаптевых, «Седов» был оттеснен к высоким широтам. На судне испортилось рулевое управление, и льды понесли его через Центральную Арктику.

Невиданный в истории ледовый дрейф, длившийся 812 дней. Моряки — а их на ледокольном пароходе было пятнадцать человек — не только выдержали с честью, не только уберегли корабль от гибели, но и сделали судно, попавшее в беду, крупнейшим для того времени полярным научно-исследовательским центром.

Связь с ним поддерживала, по сути дела, вся страна: в адрес зимовщиков шли радиограммы из Москвы, Ленинграда и других городов, им посылали приветы с кораблей и научных полярных станций.

Не остались в стороне и пионеры. У меня сохранился старый экземпляр пионерской газеты, выходившей тогда в Саратове. 27 января 1940 года она на самом видном месте поместила информацию о том, что клуб юных исследователей Арктики при харьковском Дворце пионеров во время дрейфа ледокола регулярно поддерживал связь с отважным экипажем «Седова». Ребята несколько раз обменивались радиограммами с седовцами, приглашали их в гости. От капитана «Седова» Бадигина они получили ответную телеграмму: «Крепко жмем ваши руки, молодые друзья! Благодарю за приветы. Надеюсь, что скоро увидимся. Ваш Бадигин».

Когда седовцы возвратились из дрейфа, проделав во льдах Севера 6100 километров, их повсеместно по заслугам чествовали как героев-победителей. В той же саратовской газете была напечатана тогда и моя, первая в жизни заметка: «С большим нетерпением я следил за дрейфом ледокола «Георгий Седов». Скоро я услышал, что дрейф

закончен и ледоколы встретились. Сердце забилось сильнее. Трудно описать чувство радости, охватившее меня в эту минуту. Ребята, давайте учиться отлично, овладевать знаниями, закалять свой организм, готовиться стать полезными сыновьями нашей любимой Родины. Примером нам в этом служат герои-седовцы».

В день, когда в Центральном Доме литераторов отмечали шестидесятилетие известного писателя Героя Советского Союза Константина Сергеевича Бадигина, я вручил ему это свое детское сочинение, посланное когда-то в газету из деревенской школы.

— Сколько молодежи по примеру экипажа «Седова»,— сказал он мне, прочитав заметку,— стало тогда изучать морское и радиодело, отправилось зимовать на полярные станции! Уже одно это вселяло в нас, морепроходцев, гордость за свою профессию, за свое дело. Суровая арктическая школа потом, в годы битвы с фашизмом, очень помогла боевым капитанам — и молодым и старым. А фильм «Семеро смелых»? Помните? Это ведь тоже о нашем времени, о романтике нашей юности...

В тот вечер писатели и старые полярники — друзья Константина Сергеевича, вспоминая давние северные плавания и походы, пели вдохновенную, переходящую из поколения в поколение песню о тех, кто предан Северу, морю, наследует отвагу Беринга и Русанова, Челюскина и Седова, героизм советских полярников военных и мирных дней.

Слаженно и бодро звучала на юбилейном вечере песня о тех, кто идет без малейшего колебания на опасное дело. Идет по зову Родины и во славу Родины:

Штурмовать далеко море
Посылает нас страна.

— Да, теперь наши суда — и те, которые бороздят Северный Ледовитый океан, и те, которые берут курс на Антарктиду,— всегда победителями возвращаются домой,— раздумчиво, неторопливо произнес, когда песня смолкла, Константин Сергеевич.— Новая морская техника. Высшая профессиональная подготовка кадров. Не то что в прежние времена. Но и в новых наших победах мне

всегда видится вклад давних первопроходцев, шагавших путями трудными и неизведанными. К великому нашему сожалению, не всегда после плавания они достигали родной гавани, где их так ждали. Забывать их подвиг никак нельзя. Мы им многим обязаны.

И вдруг, оживившись, Константин Сергеевич глянул на меня весело, с мальчишеским озорством:

— А я, между прочим, будущим летом намерен снова в плавание отправиться. Хотите со мной?

— Еще бы!

— Значит, по рукам?

И я, волнуясь до глубины души, ощутил крепкое, дружеское рукопожатие бывалого капитана, с биографией редкостной и героической, быть похожим на которого хотелось в детстве не мне одному.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Лукьянович Разумневич

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕСНИ

Редактор *А. С. Барков*
Художник *Р. В. Сурьянинов*
Художественный редактор *Г. Л. Ушаков*
Технический редактор *З. И. Сарвина*
Корректоры *В. Д. Синева, И. С. Судзиловская*

Г-81126. Сдано в набор 30/VII—1976 г.
Подписано к печати 15/XI—1976 г. Изд. № 3/915.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Тираж 100 000 экз.
Зак 1399. Цена 26 коп. Усл. п. л. 7,56. Уч.-изд. л. 7,51.
Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 107066, Москва, Б-66, Новорязанская ул., д. 26.

Киевская книжная фабрика республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Воровского, 24.


26 коп.

